





---

# **РИЖСКИЙ** альманах

Проза  
Поэзия  
Документы  
Размышления

Кн. 2(VII)

---

УДК 821.161.1(082)  
Р 497

Издается при содействии  
ЛАТВИЙСКОГО ОБЩЕСТВА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  
&  
при финансовой поддержке  
Фонда РУССКИЙ МИР



Главный редактор:  
Ирина Цыгальская

Составители:  
Ирина Цыгальская  
Сергей Морейно

Редакционная коллегия:  
Татьяна Зандерсон  
Елена Матякубова  
Владимир Новиков

Корректор:  
Алексей Герасимов

Макет:  
Сергей Морейно

РИЖСКИЙ АЛЬМАНАХ (RĪGAS ALMANAHS) №2(7)  
Рига 2011

*Распространяется бесплатно  
в библиотеках, школах и высших учебных заведениях*

© АВТОРЫ, тексты  
© РИЖСКИЙ АЛЬМАНАХ, состав, оформление 2011  
© RĪDZENE-1, издание, 2011

ISBN 9984-553-22-1

## КОНТЕКСТ

И. Балоде. На берегу далекого острова. <i>О книге В. Фреймане, пер. С. Морейно</i>	7
О. Николаева. Кто жил на улице Обойной. <i>О сборнике В. Панченко</i>	13
И. Озерская. Веха на пути. <i>О стихах С. Пичугина</i>	16
Р. Марьяш. В свободном плавании. <i>О русской поэзии латышей</i>	22
А. Иванова. Стихи, подстрочники, комментарии. <i>О книге «Латышская русская поэзия»</i>	25

## ПОДТЕКСТ

Г. Гайлит. Последняя глава	29
И. Карклия-Гофт. Мой старый город	46
Р. Добровенский. Нам не дано предугадать. <i>Эссе</i>	56

## ТЕКСТ

И. Трохачевский. Ветром осенний лист. <i>Стихи</i>	63
А. Герасимов. Трещина в сердце, новогодняя лавстори	67
П. Васкан. Точка точка тире. <i>Стихи</i>	72
В. Ермолаев. Март обещает. Гнилые метафоры. <i>Стихи</i>	75
В. Новиков. Дядюшка Янис. <i>Рассказ</i>	77
М. Асаре. Страстная пятница. <i>Стихи, пер. С. Морейно</i>	87
Вл. Ореховский. Строй обреченных. <i>Стихи</i>	95
М. Макарова. Стихи	98
И. Озерская. Химеры. <i>Рассказ</i>	100
С. Пичугин. Крым. Из цикла «Времена любви». <i>Стихи</i>	112

## АВАНТЕКСТ

С а п р е л ь с к о г о с е м и н а р а	
Б. Лобан. Наощушь. <i>Стихи</i>	115
С. Тимофеева. Прощание с детством. Тишина. <i>Стихи</i>	118
Артемий Шеля. Привычка. <i>Рассказ</i>	119
Никита Карпов. Утренняя пробежка. <i>Рассказ</i>	123

## IN MEMORIAM

Александр Чак – 110	
А. Чак. Встреча и другие стихотворения. <i>Стихи, пер. С. Морейно</i>	128
А. Чак. Чертыка с гиблого острова. <i>Фрагмент, пер. А. Герасимова</i>	131
Памяти Вольдемара Бааля	
И. Цыгальская. Превращения Бааля	134
Ю. Касянич. Баллада о Баале. <i>Реквием-коллаж</i>	140
Борис Равдин. Ю. Абызову – 90	155
И. Асаев. Блажен, кто верит в март за февралем. <i>Стихи</i>	158

## ИНТЕРТЕКСТ

Я. Залитис. Начальник станции Астапово Озолин	168
Проект «Бывшие рижане»	
И. Даугавиете. Я твой образ создам. <i>Стихи</i>	173
Вл. Френкель. Время вечно живо. <i>Стихи</i>	175

## ГИПЕРТЕКСТ

Балтийская гильдия поэтов. Итоги анкетирования. <i>Опрос 22 поэтов Латвии и Литвы</i>	180
Ч. Милош. Вальс. <i>К 100-летию юбилею, пер. С. Морейно</i>	187
Сведения об авторах	192

## ДЕТСКИЕ СТРАНИЦЫ

Вл. Новиков представляет	
Максим Супрунюк. Сказки	196
Виктория Матисоне. Для чего. <i>Стихи, рис. А. Новиковой</i>	198
Влад Никонов. Поручение. <i>Рассказ</i>	200
Карлис Скалбе. Птичкин пир. <i>Стихи,</i> <i>пер. Л. Черевичника, рис. А. Новиковой</i>	202

---

## КОНТЕКСТ

### ИНГМАРА БАЛОДЕ

### НА БЕРЕГУ ДАЛЕКОГО ОСТРОВА

о книге Валентины Фреймане «Прощай, Атлантида!»

*«Критик театра и кино Валентина Фреймане (88 лет) в советское время была для нескольких поколений „окном в Европу“, что позволяло знакомиться с процессами мировой культуры в те годы, когда это было почти невозможно. Ее жизнь связана с нашим регионом и особой судьбой населяющих его людей.*

*– Меня поражает, – говорит Валентина Фреймане, – что иные историки отрицательно относятся к воспоминаниям о немецкой оккупации. Профессор Эзергайлис считает, что воспоминания евреев о холокосте в Латвии следует отнести к жанру фольклора. Но я – не фольклор! [...] Немцы взяли на себя ответственность за прошлое. Это то, чего мы в Латвии почему-то не можем добиться. [...] Меня угнетает в Латвии то, что люди себя обманывают» (из интервью, данного Валентиной Фреймане Гинтсу Грубе, корреспонденту газеты «Ir», 13-19.01.2011).*

#### От редакции

Век Валентины Фреймане резко разграничивается на четыре периода: предвоенное детство и ранняя юность; переход к зрелости, ускоренный невиданно жестокими обстоятельствами времени немецкой оккупации в Латвии; долгие, может быть, унылые порою советские годы – и последнее двадцатилетие.

В своей книге «Ardievu, Atlantīda!» (Rīga: Atēna, 2010) автор рассказывает о первых двух. Пристально взглядывая в полузабытые черты Атлантиды, она приближает их; возникает крупный план – и читатель,

вместе с В. Фреймане, погружается в атмосферу ее раннего бытия, легко следует за нею по страницам воспоминаний. Прежде всего – о самых близких, любящих людях.

Обеспеченная жизнь – в Париже; попеременно то в Берлине, то в Риге; заботливый отец; жизнелюбивая красавица-мать. В доме богатая библиотека. У матери немало знакомых и друзей из среды художественной интеллигенции, артистов. У отца, талантливого юриста, обширные деловые связи, нередко перерастающие в тесные дружеские отношения.

Не обойдена молчанием и этническая разнородность круга общения родителей. Евреи и латыши; немцы – балтийские и живущие в Берлине; поляки; русские эмигранты из Советского Союза... Объединяет их богатство духовного мира.

Действующие лица второго периода порой изображены не настолько зримо и вышукло. Герои мелькают перед глазами читателя – точно так же, как в свое время промелькнули чередой перед главным действующим лицом. Чтобы спастись, Валентина Фреймане переходит из дома в дом, иногда задерживаясь под одной и той же крышей не дольше двух-трех дней, а то и всего на сутки. Случается, остаются неузнанными, не запоминаются – ни дом, ни улица, ни имена спасителей. Здесь многие страницы преобразены в своеобразный калейдоскоп; и это обусловлено тогдашней реальной необходимостью уберечь преследуемую от лишнего знания, чтобы она не смогла и под пытками выдать спасителя, не отяготила свою душу предательством.

Книгу пронизывает свет. Теперь, уже зная, что будет дальше, мы не можем не чувствовать его печали – на счастливую Атлантиду падает отблеск грядущей трагедии. Зато второй период он озаряет надеждой на сбережение Атлантиды...

## На берегу далекого острова

Книга Валентины Фреймане «Прощай, Атлантида!» – одно из тех литературных событий, чье сила и обаяние кроются вне литературы и литературной самодостаточности; ее рассказ коренится в первоисточках слова: в желании рассказывать и в способности видеть и замечать.

Исследователь кино и мыслитель Валентина Фреймане, видимо, задолго до того, как начать повествовать, придала своим воспоминаниям о жизни в довоенной Риге форму повествования; Гунта Страутмане, в свою очередь, повесть выслушала и записала, вложив в этот процесс большие эмоциональные и физические усилия. Об этих отношениях между рассказчицей и слушательницей Г. Страутмане рассказала 23 января на Латвийском Радио в передаче «Kultūras rondo».



Не стану вдаваться в подробности, поскольку запись выложена на YouTube; упоминаю же об этом постольку, поскольку в откликах на книгу часто забывают о роли Г. Страутмане в возникновении книги – роли слушателя-восприимчика.

В такой же форме, которую удалось обрести воспоминаниям Валентины Фреймане, мне бы хотелось считать и полотно послевоенного бытия – тот ландшафт, что возник после прощания с Атлантидой. Равно как перечитать циклы лекций Фреймане, которыми – если повезет – могли наслаждаться слушатели, рожденные как в пятидесятые, так и восьмидесятые; в том числе и я, пишущая эти строки.

*[По рассказам очевидцев, в советское время Валентина Фреймане, всего на один (!) день получавшая в Москве копии редких фильмов, сразу же с утреннего поезда отправлялась в Киногалерею на улице Яуниела, неподалеку от Домской площади. Официальный доступ в лекторий Фреймане имели студенты-киношники – но, говорят, по одному студенческому билету на просмотры проходило до пяти человек. Когда бы бедная Сьюзен Зоннтаг знала о деятельности В. Фреймане, она бы не решилась написать в эссе «Столетие кино» вот такое: «Синемфилия – источник вдохновения в фильмах Годара и Трюффо и ранних Бертолуччи и Сибберберга {...}. Великие режиссеры «другой Европы» (Занусси в Польше, Ангелопулос в Греции, Тарковский и Сокуров в России, Янчо и Тарр в Венгрии) и великие японские режиссеры (Одзу, Мизогучи, Куросава, Нарусе, Ошима, Имаматура) стремились не быть синемфилами – возможно, оттого, что в Будапеште или в Москве, в Токио, в Варшаве или в Афинах не было возможности получить образование в синематеках». – Прим. перев.]*

Видение Фреймане, последовательное и аналитическое, логичное и взвешенное, помогает любому, даже самому болезненному воспоминанию, раскрыться в продуманную череду кадров – мы в них присутствуем, однако рукой режиссера мы выведены за их пределы, вовне, сами по себе; мы держим в уме и то, что взятый в рамку кадра человек сегодня продолжает торить свой путь совершенно иначе.

Валентина Фреймане, повествуя, остается прямой и великодушной – по отношению к своим воспоминаниям, их героям (от встреченных в детстве звезд немецкого кинематографа и до своих возлюбленных, от спасавших ее незнакомых людей вплоть до всех тех, что умом и делами были вовлечены в ад Второй мировой в качестве исполнителей); великодушной по отношению к непростительной людской слабости и глупости. Агнесе Криваде в своей статье в журнале «Latvju Teksti» пишет: «Это книга против глупости и мракобесия» (LT: 2011, №3, стр. 50). Я думаю, это верное утверждение, которое, тем не менее, легко мо-

жет быть понято неправильно – можно рассудить так, что рассказчица выступает «против». Само собой, да – однако, слушая и читая повествования Фреймане, видишь, мне кажется, что ей ведомо главное: нету такого вот «против», нет смысла «противОдействовать» (подчеркивает она, упоминая о дальнейшем, послевоенном развитии жизни) – поучать, переучивать.

*[Борис Равдин как-то заметил, что переход от маргинального состояния к обычной жизни может сотворить с памятью человека чудовищные вещи, после чего воспоминания частных лиц зачастую подгоняются ими под типовой образец. В результате большая часть мемуаров о, скажем, гетто являются художественными рефлексиями, а не свидетельствами. Таким образом, например, А. Солженицын в вопросе о лагерной реальности вызывает гораздо больше доверия, нежели В. Шаламов, хотя он и использует обычный земной подход, а Шаламов – косм(огон)ический. Но, судя по некоторым нашим с ней разговорам, – продолжает Равдин, – задачей Фреймане было воссоздание и передача этого мира как можно ближе к действительности. – Прим. перев.]*

Есть одна лишь ее позиция – точка зрения свидетеля, прямота и недвусмысленность действия в свое время и во Времени вообще.

В глазах нашего поколения это большая удача – говорить с человеком, представляющим на сегодня свою Атлантиду или другие, оставшиеся за спиной миры. Не знаю, как – в данном случае – возможность такого диалога воспринимает Валентина Фреймане, я же, вступая в завязанный рецензентом разговор, начинаю размышлять об интерпретации отдельных процитированных Агнесе Криваде строк-маркеров. Стараясь не пересказывать рецензию, добавлю, что упомянутая рецензенткой неточность вовсе не является признаком небрежности записчицы.

*[А. Криваде начинает содержательную часть статьи с того, что, по ее мнению, первоисточник выражения «изгонять беса Вельзевулом», т.е., бороться с меньшим злом с помощью большего зла – это не немецкий фольклор, а Евангелие от Луки. Однако, вне зависимости от нашего религиозного воспитания, большинство евангельских крылатых фраз приходит к нам опосредованно, из фольклора. Упоминания Вельзевула – из средневекового фольклора помешанных на демонологии немцев: *Den Teufel mit dem Beelzebub austreiben*. В Евангелии сказано немного иначе: *Einige von ihnen aber sagten: Mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt er die Dämonen aus* (Некоторые же из них говорили: Он изгоняет бесов силою вельзевула, князя бесовского), и смысл сказанного несколько иной. – Прим. перев.]*

А именно, мы имеем дело с идиомой, часто и во многих источниках встречаемой, а вместе с тем и по-разному толкуемой; в Евангелии

она сопровождается несколькими абзацами о масштабах сил и силе веры. В то же время фольклор остается фольклором – бери и пользуйся (чаще всего – прямо по назначению). В свою очередь, цитата, найденная Криваде, продолжающей читать Евангелие от Луки, в гораздо большей степени является ключевой, причем, в связи с книгой Фреймане, интерпретируема она гораздо уже. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет» (Лук. 11:17). Атлантида, которой суждено погибнуть, в глазах Валентины Фреймане, разумеется, отнюдь не безвинна.

Впрочем, так же, как разломы ее собственного времени не кажутся ей непреодолимыми, но лишь порожденными «слабостью человеческого разума», так и о времени нынешнем, – для измерения которого есть у Фреймане значительно более широкий арсенал, – она не собирается рассказывать с позиций судьи. Напротив, автор рецензии, мне кажется, уже заранее решает для себя, что такова ее привилегия, как читательницы: позволить человеку «придумать такую историю жизни, чтобы помогла лучше переносить саму жизнь» (ЛТ: стр. 49).

При этом – не придавая особого значения некому пониманию-постижению, что существует вне зависимости от текста Фреймане, но напрямую вытекающему из него. Тому, что сильнее всего затронуло меня, когда я читала книгу: как получается, что в мультикультурном, умном и красивом городе (государстве), о котором рассказывает Валентина Фреймане, оказывается столь много видимых и невидимых дефектов, трещин, что при первом же серьезном потрясении обнаруживается, что структура недолговечна, обречена на самоуничтожение, что ей уже вынесен смертный приговор? Живя сегодня в теоретически мультикультурной и фактически расколотой стране, ищет ли кто-либо еще, помимо тех, что пребывают в Атлантиде, некий внутренний вектор, дающий возможность совладать с распадающейся по всем измерениям средой?

*[«Самым важным в книге Валентины Фреймане «Прощай, Атлантида» является то, что она посвящена «тем, кто оставались людьми и видели во мне человека», – пишет А. Криваде. – Не «безвинно замученным жестокой властью», например. Основное значение книги – дать возможность увидеть и предотвратить ошибку, характерную для коллективного мышления ЛР: думать о прошлом в таком ключе, который вредит настоящему. В книге найдем и ответ на вопрос, отчего нужно вслушаться в то, что говорит Фреймане, а именно: она практик, а не теоретик». – Прим. перев.]*

Продолжая взвешивать интерпретации и вспоминать книгу, задумываясь, отчего так часто в разговорах о Валентине Фреймане возника-

ют слова «ясность ума». Надеюсь, все же не оттого, что, говоря о людях ее возраста, не приходится удивляться, когда у кого-то интеллектуальное достоиние оказывается «чересчур хрупким». Разум, выживание разума – об этом Фреймане говорит в книге очень часто, так же, как и про свою внутреннюю свободу. Разум и свобода: выявление и всяческое высветление этой связки – один из самых больших даров для читателей, образующих государство, где эти две ценности не всегда друг друга дополняли, бывали и отделены друг от друга – в особенности, при создании следующей, давно мечтавшейся Атлантиды – Латвии в период после Атмоды.

Шанс проститься с Атлантидой: понятно, что он был нужен рассказчице, чтобы никто не сомневался – можно продолжать жить и после «растворения в кадре». И, раз уж среди сказанного в книге Валентины Фреймане нет ни одной жалобной, брезгливой или циничной ноты, опять же понятно, что это небольшое воскрешение Атлантиды – подарок нам. Почти написала – нам, студентам. Уточню – тем, кому взгляд Валентины Фреймане помогал подняться над страхом, над хаосом и – основное – помогает страстно желать избавиться от «слабости разума»: наблюдая, правдиво изображая людей и события, повествуя об эпохе в целом (если кому-то и в мирное время дана такая возможность).

*Перевел с латышского Сергей Морейно*

ОЛЬГА НИКОЛАЕВА

## КТО ЖИЛ НА УЛИЦЕ ОБОЙНОЙ

о книге Веры Панченко «Из пазухи дня», стихотворения: Рига, 2011

Я давно уехала из Риги, больше пятнадцати лет назад. После такого перерыва трудно писать о знакомых поэтах, не уверена, имею ли я право, не участвуя, по крайней мере – зримо, в литературном процессе, представлять его реальным участникам свое мнение.

Часто, говоря о других, мы пишем о себе...

Вера Панченко, оставаясь на орбите столько лет, за эти годы не утратила, а скорее приобрела, казалось бы, неприсущую ей ранее энергию, с которой написана средняя, основная часть поэтической книжки.

Из предисловия мы узнаем, что за время перемен у автора собралось восемь сборников стихов, пусть и не изданных. Это, честно говоря, меня немного удивило, ведь за эти годы какие события пришлось пережить, и осмыслить. Ведь большого труда и мужества требует перевод словес души своей, непознанного объекта, на язык времени. Переводчик, случается, пишет мало своих стихов, но чужие не просто переводит, а дает им жизнь и судьбу. Так же можно переводить и с русского на русский. Так сложно слепить себя, старого, с новым...

Вера Панченко, как и прежде, волнуется о своей родине, о России – это важно! Автор сумел расслышать болезни времени («Глобальность настырно стучит в нашу дверь...»; «В декабре стоят туманы...»). Но все же материал для своих стихов Панченко чаще берет из бывшей жизни, а не из самой жгучей. Быть может, раньше она не жглась? Ведь надо пережить, а не сочинить, надо, чтобы холодок – знак подлинности – пробежал по спине читателя. И как хотелось бы пожелать автору не поддаваться соблазну «мировоззрения в неясных очертаниях».

Самые большие победы в книге мы видим там, где от малоопытного конспекта, типа «Античная свобода от идеи» и трех последующих стихотворений (ими, к сожалению, начинается книжка), автор *на трамвае* доезжает до Коли Белова, где чисто выписан его поэтический портрет и как бы житие.

Может быть, лучше было бы начать книжку стихотворением «Кто жил на улице Обойной...» (так бы и назвать сборник!). За ним пусть бы следовали «Засулаукские трубы...», «Не срывай мои слезы – с их корешка...», «Воронье не проворонит...», «Земля и власть – в конфликте встречном...»

А вот строчки:

*Потереться о небо – и воспламениться,  
И рассыпаться на золотые зарницы,  
И на миг осветить ночь с другого конца,  
И навек узаконить свободу творца.*

Не странно ли, что постижение высшего у В. Панченко иной раз происходит как будто в стогу сена со спичками... «Потереться о небо – и воспламениться...» – со «сдернутой», сниженной лексикой. Разве о небо можно тереться? Ну, разве что «чиркнуть» ракетой, той, что из ракетницы.

В стихах автора иной раз замечаешь, как в поэтический образный ряд вводится ненавистная плотная кухня. Вспомним, как Марина Цветаева резко порывает нежную связь со своим спутником, стоит лишь ему сравнить кучевые облака с цветной капустой. Дождь, довольно частый персонаж В. Панченко, льется у нее *мурлытно и сытно*, о небо можно *потереться*, солнца диск – *замохрый*, *свет бесконечный* постигается *миру под нОги*, как *левкас* (то есть, чистое поле будущей иконы)...

При поверхностном взгляде – за эти годы словно бы ничего и не поменялось. Те же поиски слова всех «пастернаковозрящих», те же атавизмы детства – любовь к Сергею Есенину, то же тяготение к лексике среды, в которой вырос человек. И едва ли не идолопоклонническое благоговение пред научной терминологией: *мониторинг*, *тезаурус*, *домен*, *темпоральность* и прочее, которую мы суем в свой иероглиф как некие сувениры, совсем ненужные.

Бывает, строй стихотворения у Панченко требует приподнятой лексики, и вдруг в самой его сердцевине появляется просторечие. Получается, что сначала автор как бы обращается к *вышним*, где это всего лишь «природа», но разговор идет вершинный — на уровне крон, потом оборачивается и по-свойски, *уже на дороге* бросает слово из излюбленной коллекции: то «пазуха», то «махра», то «мжина».

Сами не замечая того, мы уже лет с десять говорим на сленге. Таков теперь «крутой» русский язык. В нашей речи винтиками и гаечками компьютерная терминология, политические и банковские «приколы». Но поэзия – не *технарь*, она то и дело «терпит перепевы» (сравни авторское: «поэзия – технарь! не терпит перепева»): пишем то метрикой Гейне, то строим лимерика, то Александра Сергеевича Пушкина – километрами; эксплуатируем слова и словечки своих предшественников, находимся в системе до-ре-ми: ямб, хорей и так далее, вплоть до Овидиевых и Гомера размеров.

Что касается «первородных» слов, то это определение – библейского значения, потому так «торчит» из современного текста, что

прочитывается едва ли не как кощунство и бессмыслица в данном ряду. Считать *первородившимися* неологизмы, как это делается в сборнике, – не ошибка ли? Подобные огрехи портят и некоторые в целом достойные стихи.

По мере прочтения книжки мной поставлены многие радостные галочки, вот, какие стихи отмечены ими: «Кто жил на улице Обойной...», «Я на кольце восьмерки сяду...», «Я помню: по улицам Риги / Слоняется Коля Белов...», другие...

На этом прервусь.

Попытку моего анализа книги В. Панченко прошу не считать отрицательным отзывом – скорее, это просто жалобная книга.

## ИНАРА ОЗЕРСКАЯ

### ВЕХА НА ПУТИ

#### В ы з о в   н а   р а з м ы ш л е н и е

Поэтический сборник Сергея Пичугина «Выбор» (Рига: 2009) воспринимается как веха на пути поэта – еще одно издание в череде его сборников последних лет: «Родники времени», «Колыбель», а теперь – «Выбор». И трудно отделаться от впечатления, что затеи Сергея с изданием сборников напоминают перетасовку карт перед началом игры. Такое сравнение напрашивается хотя бы потому, что «Выбор» содержит и его ранние стихотворения. Кроме того, часть из опубликованных в этом сборнике стихов уже входила в другие книги. Потому нет, наверное, смысла рассматривать весь массив его стихов, включенный в книгу. Скорее интересен вопрос: что же хотел сказать о собственном пути – осознанно или неосознанно – автор, формируя книгу «Выбор»?

Сразу хочется заметить, что стихи, включенные в сборник, невозможно оценить, как один пласт текстов. Нужны разные методы оценки, разные инструменты анализа. И не только потому, что стихи относятся к разным периодам творчества Сергея Пичугина, но и потому, что являются плодами его поисков – стиля, приемов, формы стиха. А законченный стиль, характерный именно для этого поэта, – до сих пор складывается только в виде мозаики. Как детская игра: вот он – где-то здесь! Да нет! Он... где-то там!

Заранее признаю свое поражение, даже стараться не стану дать полный обзор творчества Сергея Пичугина. Что высверкнуло в глаза – то и рассмотрю.

При всем уважении к автору, не могу не сказать: далеко не все из выбранных направлений в стихосложении даются ему одинаково хорошо. Потому в сборнике наряду с такими стихотворениями, как «Крым», «У пруда», «Сергий», – стихотворения, в которых, на мой взгляд, воплотились самые яркие и удачные приемы поэта, есть и стихи, написанные в иной форме, которая ему не всегда дается («Миниатюры любви»).

#### П о э т и ч е с к и е   м о т ы л ь к и

Для начала мне захотелось сказать о... стихах-мотыльках. Об акварельной легкости игры на неточных рифмах, созвучиях, интонационном скольжении.



У Сергея Пичугина в книге «Выбор» есть несколько стихотворений, построенных по такому принципу, их принято называть белым стихом. Например:

*Псалтериум разодран темнотою  
на скрипки одинокие сердца.  
Нам – вьюга ворожей  
да ветер фуги,  
рука и звук,  
и плющ  
на каменной стене...  
О, если бы ослепнуть  
и скрипкою взойти,  
строкой латыни...  
...Я на голос шел...*

В целом стихотворение тонкое, емкое, но... возникает впечатление почти насильственной присадки последней строки.

Сергей явно не ищет легких путей, он выбирает сложную форму белого стиха с графическим выявлением дополнительных смыслов. Но сложность формы чревата и западнями. Неожиданно, вместо многомерного мыслительного хода, возникает зияющая пустота смысла.

А именно это свойство поэзии Пичугина – его страсть превращения поэзии не столько в полигон для выражения эмоций, сколько в пространство, на котором требуется и догадка, и сопоставление, и мышление – заслуживает уважения и внимания.

К подобным стихам я могла бы отнести цикл «Времена любви». В сборнике «Колыбель» этот цикл назывался «Времена года». Их это не портило... Стихи яркие – не длинные, не короткие – выверенные. То же хотелось бы заметить и о стихотворениях «Ночной пруд» и «У пруда».

Но вернемся к малой стихотворной форме... Особенно ярко и достоинства, и недостатки в решении задач, выдвигаемых белым стихом, проявились в его цикле «Лики любви» (миниатюры). В предваряющем цикл стихотворении «вдвоем \\ мы плывем \\ в горячем дыму...» интонационно все взвешено, не возникает ни малейшего подозрения в щегольстве пустот белого стиха. Автор нашел верные слова для выражения прозрачного, недолговечного, уязвимого состояния человека.

Немногими словами о многом удастся сказать и в первой миниатюре «Руку ранишь стрелой осоки», здесь видится и многомерность, и точно схваченное действие, и драматическая форма обращения (во второй строке: кто кого подобрал из жалости?), игра на переливах под-

забытых и редких слов русского языка... Интересны и другие стихи цикла. Но, например, с миниатюрой «Псом прирученным, ладным...» возникают неясности. Вопрос возникает именно по первой строке – слово «ладный».

«Ладный» пес страсти становится оправданным, когда до понимания, наконец, доходит, что нужен был этот зверь автору для рифмовки со словом «складень». Тогда проясняется и в целом образ спящих... людей. Чтобы не говорить «за спиной» стиха:

*Псом прирученным, ладным  
страсть легла у порога.  
Сним затворенным складнем  
в теплой ладони Бога.*

Все же когда пластика поэтической речи оказывается сильнее и ошибок автора, и критичности читателя, она заставляет позабыть и о нормах языка, и об ироничности. А в данном случае поэтического чуда, по-моему, не случилось.

#### Разномастные красоты

В стихах, которые мне показались лучшими в книге («Крым», «Мы табором уходим в небыль...», «Предтеча», «Война», «Отшельник», «Комета», «Греки поют с утра...», «Ремедиос»), Сергей использует прием нагромождения сложных образов, позаимствованных из истории мировой культуры, – это и мифологические мотивы, и религиозные, и античные, и литературные... всего не перечислить!

И это поражает, заставляет рассматривать общечеловеческую образную проблематику вплавленной в ткань одной человеческой судьбы.

В лучших стихах из «Выбора» подкупает сила и сложность образов.

Кажется, титаны бьются с богами, и искры сыплются с небес – на человеческие судьбы, на наши ошибки, на тоску, восхищение миром, на жизнь самого поэта.

Материал, которым Сергей пользуется, настолько труден в обработке и применении, что неизбежны и ослепительные победы («Крым»), и поражения.

Его стихотворение «Перед Сретеньем» я бы причислила, все же, к поражениям. Причем, там даже не крупные огрехи наблюдаются, а так, мелочь – образ, состыкованный из несовместимых семантических слоев языка:

*Жилы бессильны, проточен  
червями зрения. Сон,  
белой голубкой приручен,  
садится на плечи. Озон  
альвеолам острее иглы  
и глагола.*

Стихотворение решено в стиле былинном, приближается к религиозной картине мира, перекликается с таким подзабытым в современной литературе жанром, как «жития святых». Совмещение приемов былинного сказа и житий – обещало быть интересным. Получилось, почти получилось...

Но не совсем понятно, как в этот порыв встроить слова «озон» и «альвеолы».

О старом добром...

Зато стихотворение «Жар» нравится мне давно, впечатление проверено годами. Как бы ни менялось творчество Сергея, этому стиху всегда может найтись место в его сборниках – нигде оно не станет чуждым, как не изменится с течением жизни и группа крови самого автора.

*Аспирин заведен на горячую часть циферблата,  
на косящийся глаз, на наклонную тень от горы,  
на бродячую звонную пустошь больничной палаты.  
Ни поднять, ни прочесть клинописных скрижалей жары.*

*Аспирин заведен на жужжанье цикад в сухостое,  
на ворчащие гулы каньона и каплей роящихся ос.  
Жизнь поставлена на совпадение простое –  
на игорную, стертую, твердую кость.*

[...]

*Аспирин заведен, как будильник, на теплую часть циферблата,  
и лежит без отметин во тьме часовая плита.  
Незаметный садовник, я после ухода Пилата  
смою пыль и расправлю листву на лавровых кустах...*

*Нам – очнуться средь ночи, и зреньем бессонным  
вдруг увидеть горящие знаки в сплошной темноте.*

*Друг, ты вспомнишь, как связаны мы с горизонтом,  
вразумленные мокрой рубахой средь крашенных стен.*

«Жар» – ассоциируется с мукой человека, который пытается прозреть во тьме. Может показаться, что несколько зависает последняя строфа – предложение не переступить порог двери в неизвестное, но всего лишь помнить о существовании двери... ведущей, возможно – в никуда. Но перед нами – стих, побуждение, а не теория «обо всем».

### К а л е й д о с к о п м ы с л е й

В целом многомерность и разнообразие поэтических приемов вызывает несомненное уважение к автору. Ловишь себя на мысли, что в руках у тебя оказался калейдоскоп. Совсем не детская игрушка – там, за стеклом и рядовые стеклянные осколки, и включения слюды или рубинов. Повторюсь: вероятно, сравнение с калейдоскопом возникает из-за перебрасывания стихов от книги к книге. Поэт изменился, посмотрел на написанное ранее под иным углом зрения... и приглашает читателя участвовать в его игре.

В одном удачном стихотворении автор максимально прозрачно сам описал свой поиск. Я имею в виду стихотворение «Признание». Лаконичное, сложное, проработанное.

*И воли саженицы, кружала и крестильни –  
все будто бы во мне. Болеет кровь не так  
по темным руслам течь. И по краям, и с тыла –  
графитным лесом целящийся мрак.*

*Промоины времен, слабины Галилеи,  
веротворенья дар, и всенощных теней  
пчела молитвы. Милость глебова сильнее  
арабской ругани на храмовой стене.*

[...]

*Но я дикарь, и мне довольно света  
полинезийских лун. И, небо наклоня,  
как воина, меня живые духи встретят  
обоймами огня, обоймами огня...*

Такова, наверное, и в целом задача поэзии – подвести читателя к границе познанного.

Выбор Сергея Пичугина – дорога познания, по которой движется человек, надеясь вместить то, что и вместить нельзя.

Выбор Сергея Пичугина – дорога поэта, вечно тоскующего о лучшем оружии для схватки с языком и смыслом.

РУТА МАРЬЯШ

## В СВОБОДНОМ ПЛАВАНИИ

Вышла в свет книга под билингвальным названием «Латышская русская поэзия / Latviešu krievu dzeja» (Rīga: Neputns, 2011). Антология, в которой впервые собраны стихи латышских авторов не на родном – латышском, а на русском языке. Большая их часть ранее не публиковалась.

Составитель и автор обстоятельной вводной статьи – А. Заполь. (Александр Заполь (1974) окончил филфак Латвийского ун-та, публиковал переводы современной латышской поэзии, в том числе изданные в Москве книги стихов М. Пуятса «Двухзвездочные церкви» и К. Вердиньша «Титры» (вместе с Л. Шакур). Переводил Э. Раупса, П. Драгунса, Я. Элсбергса, М. Салейса. Соредактор альманаха «Орбита». – *Прим. ред.*). Проведя уникальное исследование на основе материалов латвийской прессы, частных и государственных архивов, он открыл для нас целый пласт самобытного поэтического творчества – явления закономерного, исторически обусловленного.

В книге представлены тексты 41 автора. Среди них и такие известные поэты XIX и XX веков, как Янис Акуратерс, Янис Порукс, Эрик Адамсон, Эдварт Вирза, Александр Чак, Ояр Вацietис и другие. Составитель знакомит читателя не только с поэзией, но и с наиболее существенными историческими факторами, способствовавшими ее появлению.

Еще во второй половине XIX – начале XX века, в период интенсивного развития национальной литературы формируется слой латышской интеллигенции, свободно владеющей не только латышским и немецким, но и русским языком. Сохраняя свою национальную специфику, молодая латышская литература стремительно включается в мировые литературные процессы. Влияние на нее оказывает немецкая, французская, скандинавская, польская, и в значительной мере русская словесность золотого – пушкинского века.

Как справедливо отмечено составителем, латышские поэты в пору роста национального самосознания испытывали недостаток поэтических образцов на своем родном языке. Школьное обучение было на немецком, затем – на русском. Известно, например, что Райнис начал писать не на латышском, а на немецком и русском. Разнообразная тематика стихов, непринужденность, откровенность и даже порой интимность содержания говорят о том, что русский язык был для них «средой свободного плавания».

Со временем связь с русской поэзией крепнет, становится дву-

сторонней. Поэтов сближает Серебряный век – период расцвета русской поэзии в начале XX века, притягательность поэтических течений, проповедовавших новую, отличную от старой, эстетику.

При чтении книги возникает даже мысль о параллельном развитии латышской и русской литератур, обусловленном не только территориальной близостью и единым тогда государственным статусом, но и общим интересом к новым философским и литературным направлениям того времени. Внимание к латышской поэзии проявляет Валерий Брюсов, в его переводах, переводах Александра Блока, Владислава Ходасевича к русскому читателю приходят стихи Плудониса, Райниса, Аспази. В 1916 году Валерий Брюсов, совместно с Максимом Горьким, издает в Петербурге сборник латышской литературы на русском языке.

В сближении латышских литераторов с русскими значительную роль тогда играл Виктор Эглитис – эрудит, знаток мировой литературы. Он поддерживает личные взаимоотношения с крупнейшими символистами – Алексеем Ремизовым, Валерием Брюсовым, Федором Сологубом, Константином Бальмонтом и другими. Уже в самом начале XX века он сотрудничает с элитарным журналом символистов «Весы», в котором появляются обзоры латышской литературы, латышского фольклора.

В антологии представлено 19 стихотворений Виктора Эглитиса, и совершенно очевидно, что русский язык для него – средство самовыражения. Его стихи, посвященные Василию Розанову, Вячеславу Иванову – дружеский, непринужденный разговор. Вокруг Эглитиса группируются молодые латышские литераторы, переводят русскую поэзию на латышский, готовят русские подстрочники латышской поэзии для перевода. Ширится круг личных контактов, поддерживается взаимный интерес к творчеству.

Обстоятельства, способствовавшие сохранению влияния русской культуры на часть творческой интеллигенции Латвии, были – учеба в высших учебных заведениях Петербурга и Москвы, развитие там латышской журналистики, и то, что в Первую мировую войну в Россию эвакуировалось 880 тыс. жителей Латвии, подавляющая часть которых затем возвратилась домой. В послевоенной Латвии оседала и часть русской эмиграции. Возникали семейные связи, формировалась определенная русско-латышская творческая среда.

Весьма существенно, что создание стихов на русском языке поэтами, как правило, мыслящими на латышском, является не результатом конформизма – приспособленчества к неоднократно на протяжении столетий менявшимся историческим обстоятельствам, а их свободным волеизъявлением, удовлетворением потребности выразить себя не только на родном – латышском, но и на русском языке.

Поэтическое творчество латышей на русском языке не прерывалось на протяжении всего XX века, продолжается и по сей день. В антологии представлены стихотворения Александра Чака, Карлиса Крауиньша, Линарда Лайцена, Леона Паэгле, Сейманиса Путанса, Петериса Свириса, написанные на русском языке в двадцатые годы – уже после обретения независимости Латвии. Есть стихи на русском языке и у современных латышских поэтов – Яниса Рокпелниса, Лианы Ланги, Мариса Салейса, Инги Гайле, Эдвина Раупса, Айвара Эйпурса, Арманда Мелналксниса...

Что касается периода 1940–90 гг., то мы находим здесь явно не рассчитанные на публикацию в условиях советской цензуры стихи на русском языке таких признанных, известных в то время литераторов, как Мирдза Бендрупе, Монта Крома, Ояр Вацietис и ряда других латышских поэтов. В антологии представлены и неопубликованные переводы поэтами собственных стихов. Автопереводы в то время не всегда одобрялись, нередко отдавалось предпочтение переводам по подстрочникам. Эта книга предоставляет читателю возможность прямо, а не через посредника, ознакомиться с авторским русским вариантом, услышать собственный голос поэта.

Восстановление государственной независимости страны предполагает не только непрерывность ее правового статуса, но и преемственность ее ценных традиций – в музыке, живописи, литературе. Проведенное автором исследование – несомненное доказательство существующей «здесь, в Латвии связи времен». И не случайно Латвийский государственный фонд культурного капитала, испытывающий сейчас большие финансовые затруднения – среди тех, кто оказал материальную поддержку изданию этой книги.

Данная антология – стихи латышей на русском – ценный вклад в нашу общую культуру, подарок не только знатокам, но и любителям поэзии. Различен уровень знания русского языка, порой ограничен запас художественных средств поэтов. Но, несомненно, в стихах этих – неподдельное, искреннее стремление к самовыражению. И прав Александр Заполь, отметив в конце своего введения: «Стихотворения – отнюдь не памятник свободному владению языком, а сама свобода, поэзия».



АННА ИВАНОВА

## СТИХИ, ПОДСТРОЧНИКИ, КОММЕНТАРИИ

о книге «Латышская / русская поэзия»

Книга вышла в свет уже несколько месяцев назад; уже образовалась временная дистанция; уже успели появиться в печати отклики, как подтверждающие друг друга, так и резко противоположные; имеется возможность ознакомиться с неоспоримыми, казалось бы, высказываниями в ссылках, возникших в публичном пространстве.

*«Одно из прекраснейших, загадочнейших стихотворений Райнера Марии Рильке написано по-русски, – пишет Данила Давыдов в статье «Меж двух языков», помещенной в «Книжном обозрении» (2011, № 16). – Немецкий поэт, скажем так, не очень хорошо знал русский язык, но сквозь формальные языковые неправильности проступает глубинное семантическое преобразование: «Я так один. Никто не понимает / молчанье: голос моих длинных дней / и ветра нет, который открывает / большие небеса моих очей»... Были попытки «перевести» Рильке с русского на русский – и чудо утрачивалось».*

В предисловии, принадлежащем перу составителя книги Александра Заполя, а также в откликах на сборник появляется ссылка на более поздний, сопоставимый с вышеупомянутым, пример: творчество современного чувашского поэта Геннадия Айги, чьи произведения по-русски напоминают, как заметил И. Бродский, «гениальный подстрочник, не имеющий оригинала».

Значит ли это, что так, как Рильке или Айги, могут всегда и все поэты? Нет, конечно, ибо *внутренняя катастрофа*, как изначальный исток стихотворчества, у автора подстрочника, у переводчика поэзии зачастую уже на спаде. А то и вовсе отсутствует, как, например, в случае создания стихов на неродном языке в порядке игры, эксперимента. Да ее, наконец, может быть, и не было и у поэта, только тогда это совсем другие стихи, чтобы не сказать – вовсе и не стихи.

И все-таки: составленная А. Заполем антология уникальна. Уже потому, что это первая попытка выявить и собрать ВСЁ, написанное по-русски латышскими поэтами. Работа проделана огромная, в том числе и над предисловием, автор которого тщательно исследовал круг явлений, связанных с вопросами, кто, в каких условиях, зачем и почему писал на неродном языке. Единственный случай, когда, возможно, следовало воздержаться от включения текста в сборник, – это малая проза Яниса Порукса. Поэт в момент ее создания тяжело болен, находится

на лечении в психиатрической клинике. Малоубедительным кажется предположение Д. Давыдова, что это некий «тотальный абсурдистский авангард»: оно не снимает ощущения ненужности того, чтобы эти строки были представленными чужому (равнодушному) глазу. Хотя бы из этических соображений. Малая проза Порукса, а также, к примеру, и Эрика Адамсона кажутся лишними еще и потому, что все-таки это ПРОЗА, а не ПОЭЗИЯ.

*«Это толстая (448 страниц) книга в красивой твердой тканевой обложке, напечатанная на отличной бумаге. [...] книга [...] читается с большим интересом, причем читать ее можно довольно долго, поскольку собранный в ней материал достаточно разнообразен, умело подан, и, в общем, не приедается»* (Из незаконченной статьи Сергея Морейно «Комментарии к подстрочнику», любезно предоставленной автором вместе с разрешением цитирования. – А. И.).

Дальнейшие высказывания – о стихах, поэтах, подстрочниках – по отношению к составителю нейтральны, являясь лишь еще одной субъективной попыткой рассмотреть удачи и неудачи текстов.

*«Отдельные фрагменты творчества пастора Глюка и Адольфа Эрса воздействуют гипнотически. Боюсь, что только на искушенное ухо – слишком велика их укорененность в соответствующем литературном и языковом материале»* (из статьи С. Морейно).

*«Особое место в антологии занимают стихи пастора Эрнста Глюка (1652–1705) – чуть ли не первого поэта-силлаботониста в отечественной традиции, еще при Петре предвосхитившего стихотворную реформу Тредиаковского и Ломоносова»* (Д. Давыдов).

Но для более широкого круга читателей (разумеется, тех, кто вообще любит поэзию) сборник, скорее всего, становится интересен начиная с виртуозных и на русском языке строчек Эдварта Вирзы. Точно таким же прекрасным поэтом, как и на родном языке, предстает Александр Чак. Многие другие. Стихи же, например, Мирдзы Бендрупе, а также поэтов новейшего времени Эдвина Раупса, Лианы Ланги, может быть, и Мариса Салейса, позволяют высказать предположение об отдельной «балтийской ветви» русской поэзии. К подобной «ветви», кажется, может быть отнесено стихотворение Петериса Драгунса. Нам, правда, неизвестно, насколько характерны стихи на неродном языке в творчестве самого Драгунса: в сборнике мы видим только одно совсем маленькое стихотворение.

*«Я бы отметил прежде всего три стихотворения Аманды Айзпуриете – как на самом деле на(стоящие)», –* пишет С. Морейно. Думается, следовало бы дописать еще хотя бы несколько имен: Юриса Кунносса, Петериса Брувериса, Дагнии Дрейки... Хотя по словам С.

Морейно, Кунносс (чьи стихи С. М. переведил, издал книгу) «охотно отдавал свои русские тексты переводчикам в качестве методического пособия, а значит, тоже считал их чем-то вроде подстрочников». (Однако в своей незаконченной статье С. М. все же отмечает: «Среди текстов, за воспроизведение которых хочется особо поблагодарить составителя, русские стихи Александра Чака и Юриса Кунносса. Собственно говоря, ни Чак, ни Кунносс русского языка особо не знали, зато природа их гения такова, что каждый, как говорится, чих у них чем-нибудь да интересен». И еще: «Безвременно ушедший из жизни Киконе (Э. Меднис) оставил по себе строфы, местами напоминающие русский перевод с какого-то „более западного“ языка, нежели латышский. Очень честный перевод очень хорошей поэзии. Приятное и одновременно печальное открытие»).

По свидетельству современников, Ояр Вацietис, представленный одним стихотворением, никогда не писал по-русски, зато делал иногда подстрочники для московского переводчика Александра Ревича. Таким образом не исключено, что первый публикатор – задолго до составления антологии «Латышская / русская поэзия» – ошибся, обозначив подстрочник – переводом автора.

Пленительно-загадочна подборка Монты Кромы, которая, как говорят, с русским языком никогда не работала, а подготовленные якобы ею самой подстрочные переводы выполнялись в Дубултском доме творчества коллективно. Как бы то ни было – перед нами «русские» тексты Кромы, которых Людмила Азарова, переводчик ее стихотворений, скорее всего не видела, т. к. работала с оригиналами. Можно предположить, что и Крома, делая подстрочники, вероятно, для перевода на какой-нибудь другой язык, еще не была знакома с русскими переводами своих стихотворений. Но по интонации, стилю, образному строю подстрочники автора и переводы Людмилы Азаровой удивительно похожи; и те, и другие на самом деле хороши. Не оттого ли, что поэту посчастливилось найти в лице Азаровой СВОЕГО переводчика? Так верно почувствовавшего и сумевшего адекватно перенести ее строчки на другую почву.

В «Сведениях об авторах» некоторые сообщения написавшего их Карлиса Вердиньша вызывают неудовольствие тем, что К. В. нарушает законы жанра. Сведения об авторах предполагают краткое и сухое перечисление биобиблиографических данных, – он же то и дело старается дать тому или иному поэту хвалебную или уничижительную оценку. Например, о Райнисе пишет: «После провозглашения советской власти в 1940 году Райнису посмертно присвоено звание Народного поэта ЛССР, с этого времени он РАССМАТРИВАЕТСЯ как самый выдаю-

*щийся латышский поэт»*. Будто бы Райнис имел какие-то неоценимые заслуги перед советской властью. Которых не было и быть не могло никак. Райнис был признанным поэтом уже в царское время. И еще вот это РАССМАТРИВАЕТСЯ... Мол, мы-то знаем, какой он *выдающийся*.

Книга подготовлена и издана благодаря поддержке Латвийского фонда капитала культуры при участии «Благотворительного фонда П. Авена *Paandze*» и «Орбиты».

*«А разве мы не делаем в своем роде поэтический перевод с несуществующего языка и в том случае, если пишем на своем родном?»* – заключает Анна Аузиня свою статью («Зыбкие грани», опубликована в журнале „Latvju Teksti”: 2011, № 4) о составленной А. Заполем антологии.

А, может быть, и самая наша жизнь – подстрочник? или приближенный перевод с более высокого замысла.

---

## ПОДТЕКСТ

### ГАРРИ ГАЙЛИТ

### ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Администратор Русской драмы как-то под Новый год, выписав контрамарку на спектакль, в придачу, как новогодний подарок, вручила мне энциклопедический справочник «Кто есть Кто в Латвии» за 1996 год. У нее на полке стояло несколько таких одинаковых экземпляров в красном коленкоре. Наверное, театр закупил их, чтобы раздать своим. Она как в воду глядела, а, может, знала заранее, во всяком случае, на странице 91-й я прочитал следующее: «Гайлит Гарри – литературный и театральный критик. Дата рожд.: 11.08.1941. Образ.: 1966 – ЛГУ, филолог. фак-т. Чл. Латв. Союза писателей, чл. Латв. об-ва театральных деятелей. 1966–1972 – библиотекарь в ЛГУ. 1972–1974 – переводчик в газете «Советская Латвия», с 1974 – библиограф в Нац. библиотеке, занимается переводом книг на рус. язык; 1968 – вышел сборник статей „Полет пчелы, сон и пробуждение”».

Удивительная вещь память. Сейчас, перечитывая эти строки, я вспоминаю совсем другое, чего здесь не сказано. Например, что до университета я два года проработал кладбищенским сторожем.

В начале 60-х годов студентам рижского университета приходилось совмещать учебу на первых двух курсах с работой. Придумали это, скорей всего, для того, чтобы не платить стипендии.

Я устроился сторожем на кладбище Микеля или, правильнее, Микелиса. Два раза в неделю надо было сутки сидеть в сторожке и обходить территорию, смотреть за порядком. Должность так и называлась – смотритель-обходчик.

В сторожке всегда толклись люди. Могильщики здесь переодевались в робы землекопов, а в конце рабочего дня (тогда еще было принято на похоронах бросать деньги на лопату) пропивали свои «чаевые»

вместе с женщинами, ухаживавшими за могилами. В сторожке стоял дым коромыслом – охотников выпить на халяву собиралось каждый раз человек десять и больше.

Мне водку пить было неинтересно, поэтому два года трудовой повинности запомнились в основном бесконечными летними прогулками по вверенной территории. Летом я ничего не делал, да и что я там должен был делать, я понятия не имел. А зимой вообще носа за дверь не высовывал, читал в своей каптерке книжки. Кончилось это раздолье довольно смешно.

Ночью торчать в девятнадцать лет среди могил – занятие не из приятных. Поэтому полные сутки я отдежурил только один раз, в первый рабочий день. Едва стало темнеть, я с романом Достоевского «Униженные и оскорбленные» уселся перед печкой читать. Часов в одиннадцать, когда за окном на кладбище уже ни зги не видно, вдруг началась мистика. В оконный ставень или чуть выше кто-то тихо постучал. Потом еще. И еще: стук-тук-тук, стук-тук-тук... Жуть какая-то. Так продолжалось с небольшими перерывами почти до рассвета. Страха я натерпелся, не передать. Когда начало светать, я, наконец, осмелился выйти наружу. И что я увидел? Наверху, над ставнями, оказалось приоткрытым слуховое окно, которое на ветру всю ночь легонько постукивало о раму...

Больше я по ночам на кладбище не оставался. Когда начинало темнеть, я дверь на ключ и трамваем – домой, спать. А к шести утра, как ни в чем не бывало – снова на работе. Так продолжалось ровно два года, сколько и требовалось в университете. А потом однажды среди бела дня, пока я дозорил ойкумену, а остальные занимались своим скорбным трудом, нашу сторожку обворовали. Могильщиков оставили без пары бутылок водки и чьи-то ручные часы свистнули. Вот тогда мне припомнили все мои ночи: оказывается, начальство о моей хитрости все прекрасно знало, – и меня торжественно уволили. По собственному желанию.

Это было моим первым официальным местом работы. Неофициальное было еще одно. И, кстати, самое, что ни на есть книжное.

Я учился в классе девятом, а летом работал «калпотером», то есть служащим в зоопарке. Не по части зверей, а по части книг, открыток и туристических буклетов. Я торговал всем этим добром в киоске на главной аллее, будучи оформлен по маминым документам. Так началась моя трудовая молодость.

За всю жизнь я сменил всего шесть мест работы. Последнее, после Национальной библиотеки, в справочнике «Who is who» тоже не указано. В 1997-ом я почти год проработал штатным театральным обозревателем в газете «Бизнес&Балтия» у Гурова. Это был интересный человек.

На моем веку – вот уж, действительно, повезло – мне попались два таких совершенно уникальных начальника: Генрих Новацкий, о котором я писал в библиотечной главе, и Владимир Гуров. Университетский преподаватель, доктор наук, регбист, журналист. Он с нуля создал первую в Латвии и единственную русскую деловую газету, которая, выходя сначала, кажется, раз в неделю, в короткий срок стала лучшим русским ежедневным СМИ в Риге. Судить об этом можно хотя бы потому, что по утрам в трамвае, которым я из Межапарка ездил на работу, если кто-то читал какую-нибудь газету, обычно это была розовая «Бизнес&Балтия». Розовая потому, что издавалась на розовой бумаге.

Гурова постоянно обуревала страсть делать все лучше других. Газета у него получилась очень успешной благодаря хорошо развитому чутью – он понимал, чего хочет новый подписчик. И еще благодаря особому дару привлекать талантливых людей. У него даже технический директор Юра Алексеев – оказался семи пядей во лбу. После Гурова у газеты сменились два редактора, так вот лучшим после него оказался последний – Алексеев.

То, что Гуров всегда говорил: я собрал в своей газете лучшие перья, – совершенная правда. Как правда и то, что эти лучшие перья его в конце концов и сгубили. Писали тогда все в «Бизнес&Балтии», действительно, интересно. И главное, Гуров ни на кого не давил цензурой. Ему было важно только одно: чтобы писали все по делу и чтобы это легко и с интересом читалось.

Попал я к Гурову тоже интересно. Я ведь театром стал заниматься случайно. До этого, сколько себя помню, то реже, то чаще пописывал статейки для «Вестей Сегодня» – о книгах, о библиотеках и вообще о культуре. Для меня в них важным было выразить свое отношение к предмету. В книжных рецензиях это, наконец, стало получаться. И тогда Наталья Морозова, заведомо культуры, тонкий, опытный журналист, неожиданно предложила мне писать о новых русских спектаклях.

Главное, говорила она, не «отрабатывать» контрамарки, а писать, что считаете нужным. Ну, я и рад стараться, стал выдавать одну рецензию резче другой. В начале это всем нравилось. И моя резкость, и мое, как мне кажется, удачное сочетание входившего уже тогда в моду либерального дилетантизма с кое-каким знанием предмета. Как-никак я перелопатил тогда много театральной литературы и по теории критики тоже.

Мои статьи шли в набор без правки и почти без сокращений. Ко мне иногда после спектаклей подходили прямо на улице незнакомые люди и говорили, что я пишу, как будто читая их мысли.

Я стал печататься даже в самом солидном у нас тогда латышском еженедельнике «Literatūra un Māksla». Вскоре у меня вышел небольшой

сборник статей, благодаря чему меня приняли в Союз писателей. Верней, все получилось наоборот. Мне сказали – вам пора вступать в СП, но для этого надо издать книжку. Я пошел в издательство, и все получилось как по маслу, без проблем. А через год мне сообщили, что я принят и в Союз театральных деятелей. Я думаю, главную роль сыграло то, что я был единственным тогда русским автором, который о латышских спектаклях – причем обо всех подряд – стал писать в русских СМИ, а о спектаклях Русской драмы, с позиций русского зрителя, – в латышских.

Делал я это всегда без позы, с точки зрения простого зрителя и, главное, для зрителя. Театр как таковой, то есть его интересы и театральная закулиса, меня никогда не занимали. Только спектакли. Точно также меня мало интересует литература в целом и писательская жизнь – я пишу просто о прочитанных книгах. Кстати, поэтому я считаюсь не литературным, а книжным критиком.

Словом, все у меня шло, как говорится, без сучка и задоринки. Я считался не журналистом, а именно критиком, и мне это очень нравилось. Все же добиться в газетном деле такого статуса в советское время, как и в русских СМИ сейчас – не так уж просто.

А вот начальство Русской драмы все это с самого начала раздражало. Помню, тогдашний режиссер Семен Лосев одному человеку как-то при мне стал объяснять, – не знаю, с иронией или всерьез, – что я, дескать, независимый критик и пишу, как хочу. Того аж передернуло.

В конце концов, – я не знаю точно кто именно, но редактора «Вестей Сегодня» и, как я понял, его заместителя тоже, очень толково обработали на предмет того, кто он, мол, такой этот Гарри Гайлит и почему вы ему все позволяете.

Мне тут же «позволять» перестали. Это грозило обернуться для меня самым неприятным образом. И вот тогда, как нельзя кстати, мне вдруг сообщили, что меня хочет видеть Владимир Гуров.

Я к нему пришел, мы поговорили, он по-деловому предложил мне шесть латов за тысячу знаков (в русских СМИ это до сих пор очень приличный гонорар, в среднем почти все тогда получали примерно три-четыре лата, а теперь платят вообще по одному лату за тысячу знаков, даже меньше).

И я отработал у него очень продуктивно в штате и вне штата почти два года. Он был мною доволен и я им тоже. Вообще в «Бизнес&Балтии» тогда работать было приятно. Атмосфера в редакции при Гурове складывалась приподнятая, даже праздничная, как в коллективах успешных людей. Статьи у меня шли по две-три в неделю, и в театры я ходил тоже очень часто. Приглашительные на гастрольные спектакли мне тогда давали чуть ли ни самому первому в редакции.



Но спустя год все как-то вдруг разладилось. Одна напасть пошла за другой. В том году мы с Ирой последний раз «нелегально» отдыхали в уже всеми забытом и покинутом Доме творчества в Дубултах. Я там очень неудачно упал и сильно расшибся. Врачи, зашивавшие мне голову, не разобрались, что я травмировал еще и шейную часть позвоночника. Спустя полгода я почти перестал ходить. Из штата газеты пришлось уйти. Правда, отлежавшись в больнице, я продолжал на прежних условиях писать для «Бизнес&Балтии», но тут случилось другое. Театр достал меня и здесь.

Дело в том, что дерзкие критические статьи на премьеры в такой газете, как «Бизнес&Балтия» (как и в любой большой газете, но в деловой особенно) не так уж безобидны. Кроме простых зрителей, их читают еще и спонсоры театра, делая для себя соответствующие выводы. Хотя и говорят, чем скандальней статья, тем лучшей рекламой она служит для театра, это не всегда и не для всех так. Поэтому театру гораздо удобней, чтобы о его спектаклях писали только доброжелательно, а еще лучше комплиментарно и не более того.

В Русской драме мною были очень недовольны. Завлит театра Зиновий Сегаль, который, когда я первый раз пришел к нему знакомиться, очень убедительно и долго втолковывал мне, чего критик делать не должен, и хотел, чтобы я каждую рецензию прежде всего показывал ему, а потом уже отдавал в редакцию, в одном своем интервью на Домской площади буквально сравнивал меня с землей. (Между прочим, потом, выйдя на пенсию и оказавшись театру ненужным, он при каждой встрече говорил: ты единственный, кто способен писать толково об их спектаклях).

Актер Русской драмы Яков Рафальсон тогда же умудрился напечатать в «Ригас Балсс» – она еще выходила на русском языке – очень резкое письмо (имел полное право!) о том, что Гарри Гайлит ничего не понимает в театре... Были три или четыре случая, когда администратор Рижской драмы получала от директора строжайшее указание не выдавать мне контрамарки. Дескать, нечего – пусть ходит «через кассу». Только я все равно гнул свое – никаких контактов и отношений с театральной тусовкой не заводите. Это для критика всегда важно. (Не случайно театральным обозревателям американской «The Times» даже вменяется в обязанность покупать билеты на премьеры за редакционные деньги). И вот за это меня и старались как-нибудь нейтрализовать.

(Что значит – за это? Это значит, что я пресекал любую возможность как-то повлиять на мое мнение и отношение к театру. Всякий, кто тусовался с людьми театра, обязательно поддадал под их влияние и начинал писать о нем как свой человек. Начинать писать для театра, а не для зрителя. Актеры, режиссеры и особенно театральное руководство

обычно считают, что любая их продукция хороша и достойна всяческих похвал. Это далеко не так).

Не знаю, специально ли Гурова примерно в то же время пригласили в Совет гарантов Русской драмы и даже выбрали председателем, или со мной это никак не было связано, только вскоре он позвал меня к себе. Закрыв на ключ дверь, и, чувствуя себя, как я понял, самым неприятнейшим образом, он стал путано объяснять, что будучи одним из гарантов театра, он больше не может печатать в своей газете мои критические статьи о Русской драме. (Примерно тогда же, как я понимаю, похожий разговор состоялся и в газете «Час» с театральным обозревателем Майей Халтуриной – она тоже обычно позволяла себе писать о Русской драме так, как считала должным. А владелец ее газеты Алексей Шейнин уже состоял членом Совета гарантов театра).

Замом у Гурова (или все еще замом по культуре, сейчас не припомню) в то время работал его тезка Владимир Вигман. Человек талантливый и умный, но... У него с директором Русской драмы были самые приятельские отношения, и это тоже мне мешало писать о Русской драме так, как я считал нужным. Короче, в конце концов, нам втроем пришлось договариваться о моем дальнейшем статусе в газете. Какую-то свободу действий мне еще на время оставили, но ограничения поставили серьезные.

Потом вдруг вслед за Вигманом в «Бизнес&Балтии» появилась Татьяна Фаст. Раньше они вдвоем издавали очень благостную, позитивную «Балтийскую газету» – издание, предназначавшееся для сливок общества. Автура там состояла преимущественно из людей известных и успешных. Но однажды весь небольшой коллектив «Балтийской газеты» – в полном составе – неожиданно взял и ушел на месяц в отпуск. Читателя оставили без газеты. Поэтому не удивительно, что, когда они вернулись на работу, оказалось, что газеты больше нет.

Теперь Фаст – тоже, как золотое перо, – приглянулась Гурову. И, я уж не знаю, что у них там произошло, но очень скоро и для всех, как снег на голову, Гуров решил отойти от дел. Он как бы становился президентом издательского дома, а главным редактором «Бизнес&Балтии» вместо себя назначил именно Фаст. То есть практически отдал ей в белы ручки свое детище, свою гордость, свое главное дело всей жизни. (Сделавшее, между прочим, его самого фигурой чуть ли ни номер один в мире русских СМИ в Латвии).

Дальше больше, Гуров, тоже для всех неожиданно, стал вдруг человеком закрытым, начал запирается в своем новом кабинете на какой-то хитрый автоматический замок и совершенно перестал общаться с сотрудниками, за исключением главного редактора и его зама. Вот тогда

и полетели из газеты все его золотые перья. Некоторые уходили сами, кого-то увольняли. Мне было отказано в месте, кажется, последнему из тех, кто занимался культурой. Я еще, помню, совершенно убитый, зашел к Гурову и, после очень короткого разговора, на прощание сказал ему, что, позволив выставить из газеты всю старую гвардию, он рискует быть выставленным из им же созданной «Бизнес&Балтии» последним.

Гуров мои слова воспринял как оскорбление и сказал, что больше никогда не подаст мне руки.

Руку он мне через полгода все-таки пожал – мы с ним однажды столкнулись на троллейбусной остановке у Дома печати. В это время он, после каких-то мне неизвестных, но очень серьезных неприятностей, был там уже не у дел и дал мне понять, что я в своих прогнозах относительно него оказался совершенно прав. Еще он тогда, как мне показалось, – с горечью, сказал, что газетное дело его больше не интересует, и что он решил впредь заниматься только преподаванием и бизнесом.

Спустя еще некоторое время Гуров трагически погиб. Ночью заснул за рулем и врезался в опору моста. Думаю, это произошло не по воле случая. Еще когда он был редактором, мы замечали, что его что-то гложет, словно он страдает от какой-то серьезной хвори. Все вместе его, наверное, и толкнуло на роковой шаг. Он был человеком крутым, собранным, знающим, чего хочет от жизни, и далеко не робкого десятка. Умел делать то, что считал необходимым, и добиваться наилучших результатов. Такие за рулем не засыпают. Тем более перед бетонной опорой моста.

---

С журналистикой Гуров порвал не случайно. Русская пресса в Латвии по природе своей очень депрессивна. Может быть, не столько даже по содержанию, сколько по влиянию на читателя. Ее политический гонор деструктивен. Издатели это чувствуют, но сделать ничего не могут. Они требуют позитива, нашиповывают свои газеты желтизной и развлекухой, не понимая, что анекдоты, афоризмы, гороскопы и перемывание косточек звездам не поднимают настроение читателя, а наоборот, как наркотики, его угнетают.

Обилие деструктивной политической критики и разгул т.н. «свободы слова», а на самом деле обычной вседозволенности, когда журналисты пишут не правду, а что левая нога велит, деморализуют читателя. Он перестает читать газеты. Во-первых, потому, что все в них – осетринка второй свежести. (Я, например, весь этот новостной материал узнаю накануне по радио и телевидению). Во-вторых, любую газету

теперь можно просмотреть за пять минут, поэтому СМИ сегодня не стоят тех денег, что за них берут продавцы. Какую статью в нашей русской прессе ни станешь читать, в ней вместо анализа или комментариев просто напросто подробно пережевывается та информация, которая уже изложена в лите, т.е., во вводном абзаце.

Но что печальней всего, русская пресса не сплачивает русских, а натравливает их друг на друга. Впрочем, это, может быть, не только ее вина. Неслучайно говорят, что больше ни у кого нет таких жутких противоречий как среди русских, где бы они ни жили – в той же России или в диаспоре. Иногда даже смеются, что только в этом сегодня русский мир и един. Оно и понятно, если разобраться, из чего эти противоречия вырастают.

На самом деле с единством русских все гораздо серьезней. Источник этого единства известен, он – в глыбе русской культуры, которая своими идеями, понятиями и ценностями объединяет не только самих русских, но и множество других народов. Наднациональность, т.е. готовность пренебречь своей национальной идентификацией ради чего-то большего и совершенного, рождается у нас тягой к русской культуре. Но это единство существует лишь до тех пор, пока мы не выходим за пределы влияния идей, понятий и ценностей, которые русской культуре присущи.

Например, в США, где все определяется мультикультурализмом, такой общности мы не увидим. Неслучайно там процветает индивидуалистская мораль, когда своя рубаха ближе к телу и любая хата – с краю. Там просто нет такой монолитной, многовековой и сильно развитой культуры, способной всех объединить общим языком и общепризнанной системой этических и эстетических канонов.

Но в чем тогда источник всех наших разногласий, противоречий и различий?

Я думаю, как раз в том, отчего мы все недавно отказались и в результате развалили страну. В идеологии. Верней, теперь уже в отсутствии таковой. Идеология – это же не просто какая-то там пропаганда неизвестно чего, как это нам в последнее время внушается. Все гораздо серьезней. Она строится на вере, на религиозных устоях, на церковных положениях и философских позициях. На Западе, несмотря на индивидуализм, таких различий, как у нас, нет скорее всего потому, что по части философских основ Запад весь пронизан прагматизмом.

С русскими все обстоит иначе. Не надо далеко ходить, достаточно задуматься, почему русские так разобщены у нас, в Латвии.

Казалось бы, вопрос запутанный и ответа на него не найти. Но обратимся к вере и церкви. Вспомним, что разобщенность среди русских

обычно проявляется тогда, например, когда дело доходит до раздела конфессиональных влияний. И совсем плохая ситуация складывается, когда приходится делить какие-то материальные блага, деньги, награды, премии. Здесь и начинают все тянуть одеяло на себя, скатываясь в конце концов к групповщине.

Почему так получается? Не потому ли, что русские в Латвии с испокон века очень разделены именно по принципу веры? Когда-то, если вспомнить, вообще доходило до абсурда. Был случай, что в Риге – еще в суворовские времена – вдруг решили закрыть все школы для староверов. Что придумали староверы? Они своих детей стали отдавать в обучение не в обычные русские заведения для православных, а в немецкие. До чего, оказывается, здесь доходили распри! А, например, латыши-лютеране наоборот всегда симпатизировали русским староверам и не доверяли православным. Староверов они считали людьми трудолюбивыми, аккуратными и деловыми, не в пример остальным русским.

Тут даже не надо обязательно быть верующим человеком, чтобы оказаться в том или ином лагере. Мало того, что у нас верующие русские обычно делятся на православных, католиков, лютеран, староверов, «нововеров» и еще сектантов, так ведь те, кто считают себя неверующими, тоже подсознательно тяготеют к какой-нибудь из конфессий. Поэтому до сих пор католики и православные легче находят общий язык и договорятся между собой, чем, скажем, обычные православные и наши местные староверы или «нововеры». Между ними действуют взаимно отталкивающие силы, определяющиеся к тому же еще и образовательным цензом.

Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить и самому проанализировать любое из последних серьезных событий в жизни местного русского мира. И сразу обнаружатся эти силовые линии притяжения и отталкивания, которые в каждом конкретном случае как-то сказались на принятых решениях.

Они, эти силовые токи, и разбрасывают нас, русских людей, по разным лагерям. Именно они способствуют групповщине и сеют разногласия, противоречия и раздор между нами и не дают местным русским солидарно, единым фронтом отстаивать свои интересы.

Каждый раз обязательно находятся люди, выступающие с оглядкой на одну или другую церковь или религиозную общину. А то и еще откровенней и бестолковей – относящие себя к тем, кто поддерживает Путина или наоборот Новодворскую, кто стоит стеной за Россию или считает себя западным русским... И начинается разлад и полное несогласие друг с другом. По сути дела из-за мелочей, только эти мелочи оборачиваются большими проблемами. Нет, чтобы каждый раз в таких случаях исходить

только из исконно объединяющих нас вещей. Из того, конкретно, относим мы себя к «держателям» русской культуры или нет. К сожалению, наоборот, во главу угла ставится всегда то, что нас разъединяет.

И кем ставится? Прессой. Газетчиками. Журналистами. И политиками, выступающими на страницах газет. Причем ни те, ни другие об этом даже не задумываются. Все происходит как бы само собой, но на самом деле потому, что так устроена современная газетная риторика. Потому что русская пресса в основе своей деструктивна и настраивает читателя на негатив.

Между тем ведь все могло бы быть иначе, если бы издатели понимали, что настоящая критика способна формировать у читателя и позитивное мышление. Это не значит, что она должна быть, как у нас часто требуется, положительно-уважительной и комплиментарной. Как раз наоборот. Томас Манн говорил, что критик на то и критик, чтобы быть злым, ядовитым и жестким. «Злость, – писал Томас Манн, – это душа критики, тогда как сама критика – источник развития и просвещения».

Можно разругать на чем свет стоит любого политика, можно разнести в пух и прах спектакль, книгу, кинофильм, и при этом настроить читателя на позитивный лад. Для этого необходимо совсем немного – чтобы в критике присутствовала эстетическая или этическая компонента. Иными словами любая, даже самая суровая и безоглядная критика может дать позитивные результаты при двух условиях. Если она содержит авторское отношение к предмету критики и нравственную или эстетическую оценку. То есть как раз то, что постмодернизм и его адепты от политики – либеральные демократы напрочь выхолостили из современных СМИ, заменив пиаром и рекламой. Причем они сделали это целенаправленно. Именно потому что как раз частное мнение автора вместе с нравственной и эстетической составляющей способствует положительному и созидательному мышлению читателя.

Я могу считать себя везучим человеком. В этой несчастной стране, при этом пошлом воровском режиме мне крупно повезло с работой. Вообще, должен сказать, с ней мне всегда везло, потому, что делать приходилось обычно то, к чему ближе всего лежала душа. И сейчас тоже – вот уже двадцать лет после одной из самых чудовищных социальных катастроф прошлого века, после развала страны и гибели целого государства мне удается постоянно заниматься делом, которое меня увлекает. По сути, я все эти годы только тем и занимался, что мне больше всего нравится. Я читал то, что меня интересует, ходил по театрам и обо всем

этом писал. И продолжаю с удовольствием это делать до сих пор. Хотя и время, и условия к этому совсем не располагают. Мало того, что платят мне за это, по сравнению с тем, что я мог бы зарабатывать, будучи членом Союза писателей и Союза театральных деятелей при советской власти, сущие гроши. Само, что называется, поле деятельности или, как говорят латыши, *teļa* – по-русски пространство – культуры у нас скукожилось до невозможности, деформировав все, что можно деформировать.

Мне недавно попался вопросник, в смысле – анкета с вопросами, что я думаю о нынешних культуртрегерах русской культуры у нас в Латвии. Что они из себя представляют и кто ими вообще является. Другими словами – кто делает у нас культуру. Так вот трагедия состоит в том, что никто ее не делает. Никто больше не старается ни поддерживать на пару это поле, ни обиходить пространство нашей деятельности. Работаем по сути дела впустую. Все, что я пишу, не приносит никакого отзвука. Как будто мои статьи падают в пустоту.

Кстати, вопрос о культуртрегерстве вообще звучит, по-моему, нелепо. В последнее время наш стремительно меняющийся русский язык преподносит нам много сюрпризов. Иногда даже ставит в тупик. Я не знаю, ни что такое культуртрегер, ни кто является культуртрегером русской культуры в Латвии. Кажется странным видеть сочетание таких понятий как культуртрегерство и наша культура. Я не привык ставить эти слова рядом. И кто делает русскую культуру – тоже странный вопрос.

Впрочем, если говорить коротко и под стать спрашивающему, можно ответить так: культура у нас делается сама. Если, конечно, считать, что она – русская культура – тут есть. А вот предпосылки для нее создаются (тоже не кто-то их создает, а сами они создаются) большим количеством людей. Художниками, писателями, музыкантами, архитекторами, учителями, работниками многих и разных учреждений.

Культура (если не иметь в виду культуру материальную) – это, по-моему, аура, сама собой возникающая вокруг многих индивидуальностей в результате их интеллектуальной и духовной деятельности. Причем вот что интересно: относительно латышской культуры может идти речь о нации, но не может идти речь о нации относительно русской культуры. О нации можно говорить касательно культуры Великобритании и не принято говорить о нации применительно к английской культуре. Или французской. А что делать с США? Такого понятия как культура США в научном обиходе вообще не существует. Тогда как понятие «американская культура» подразумевает нечто большее, чем культура США.

Так что кто делает культуру, мне кажется, не совсем корректный вопрос. Наверное, тут подразумевается другое – кто «продвигает» рус-

скую культуру в Латвии? И это действительно интересно, так как сегодня ею занимаются совсем не те люди, что, например, до 1985 года.

И дело не в том, что тогда, в 85-ом, государство возглавил новый человек, и в результате его инициатив все стало меняться в нашей жизни. «Процесс пошел» в связи с совсем другим процессом. На огромной территории советского государства давно свирепствовавший на Западе постмодернизм, наконец, взломал старую культурную парадигму. В русской культуре неожиданно поменялись местами полюса, рухнули привычные духовные ценности, и почти одновременно с этим посыпалась вся экономическая система вместе с общественным строем.

Постмодернизм перевернул политику, философию, науку, экономику и всю гуманитарную сферу. Иным стало само мышление.

Мы долго считали, что постмодернистская революция потрясла только канувший из-за нее в Лету Советский Союз. Это совсем не так. Просто гигантское государство, скорей всего в силу своей «огромности», оказалось далеко не самым неустойчивым в мире. Разворотив эту страну, процесс ломки парадигмы покатился дальше и до сих пор продолжает неистовствовать, упрощая мир и все отношения в нем. Это как землетрясение – оно разрушило одну систему авторитетов и создало новую.

Русская культура стремительно демократизировалась. Рухнула планка всех критериев. В результате практически исчезли грани, отделяющие высокую культуру от масскульта. Прервалась даже связь времен: нынешнее поколение тех, кто «продвигает» сегодня культуру, знать не хочет прежний опыт своих высоколобых и рафинированных предшественников.

В отличие от России, где не в пример Латвии интеллигенция еще достаточно сильна, у нас старый слой носителей русской культуры рассыпался в пыль. Исчез, например, корпус книжных редакторов, потому что нет больше русских издательств и толстых журналов. Театр, а также изобразительное искусство и мир музыки коммерциализировались. Очень многие творческие люди уехали. Кто же остался? Кто реально двигает культуру?

Вроде бы не ясно. Но это только так кажется. Свято место пусто не бывает. Понятно, что сегодня она существует благодаря совсем не тем, кто пытается сохранить прежние традиции. Она выживает на деньги бизнесменов. И сами мы сегодня мыслим о проблемах культуры тоже чаще экономическими категориями, чем эстетическими или нравственными. Поэтому вряд ли я ошибусь, если скажу, что у нас в Латвии главный культуртрегер русской культуры – бизнес.

Кто еще?



Если, например, не касаться музыки, театра, живописи, и говорить только о литературе, то гораздо легче определить, кто теперь ее не делает. Не делают ее у нас в Латвии по сути все, кто в России и на Западе к этому по-прежнему причастен. То есть издательства, потому что их у нас позакрывали. Не делают ее СМИ, так как все они пожелтели и литература теперь не их формат; критики – их толком у нас никогда и не было; творческие организации – они приобрели лубочный окрас и погрузились в групповщину...

Короче, у нас нет стержня, который определял бы и формировал литературный процесс. Нет единства, нет объединения. Все живут порознь, не создавая общего магнитного поля.

Наши писатели ударились в амбиции и друг друга стараются в упор не видеть. Так, например, лучший, на мой взгляд, у нас русский поэт Владлен Дозорцев демонстрирует свою самостоятельность, верней, самость и непричастность к «общему делу». Он утверждает, что каждый автор теперь может за свой счет издавать свои стихи в любом количестве книг, и, дескать, это нормально. Для истории – может быть нормально. Для меня – нет.

Самодеятельность в искусстве и в литературе, на мой взгляд, должна заканчиваться там, где кончается художественное творчество автора. Дальше вступают в действие профессиональные фильтры и оценочные механизмы, назначение которых фильтровать литературный процесс. В конце концов, разве на Западе где-нибудь издается «самопал»? Вся литература в Европе и Америке проходит через сито издательств. Издаваться за свой счет там – дурной тон.

Между тем позиция, которую у нас занимает Дозорцев, не так уж и безобидна. Она дезорганизует и нивелирует литературный процесс. Именно Дозорцев, как личность харизматическая, мог у нас очень многое сделать для активизации литературного процесса.

Возмутительно, что в Латвии процветает групповщина и литературные связи с материковой литературой строго приватизированы. Русская литература в Латвии, в результате такой разобщенности, представляет собой высохшую пустыню, по которой носится перекаати-поле и лишь крайне редко далеко на горизонте, как мираж, появляется немногочисленный караван путников.

Немалую часть русских авторов собрал, например, в свое творческое объединение Анатолий Буйлов. Он даже издает альманах «Русло», но насколько это все качественно и профессионально делается, никакой оценке не подлежит. Критика людей, ставших авторитетами, в наших СМИ давно уже не поощряется. А как сегодня появляются авторитеты, все мы прекрасно знаем.

Еще в начале и середине девяностых годов существовало некое энергетическое поле, и авторитетные литераторы, объединяющее всех пишущих в одно целое.

Под эгидой Союза писателей и с участием российского посольства организовывались литературные конкурсы, что тоже способствовало динамичным процессам в местной русской литературе. Тогда же издавались два литературных периодических тяжеловеса: журнал «Даугава» и литературный ежегодник «Рижский альманах». Кроме того, несколько номеров еще одного, получается – уже третьего по счету – журнала «Шпиль» издал поэт Николай Гуданец. Можно сказать, писательская жизнь тогда была ключом, и тон задавали авторитетные прозаики и поэты.

Все это внезапно кончилось, и все забились каждый в свой угол. Прервалась связь времен и поколений. Выявилось нежелание т. н. «ответственных лиц» сопоставлять нынешнюю литературную ситуацию с прежним литературным опытом.

Рижский филиал Союза российских писателей превратился в узкий поэтический кружок, получивший позднее название «Метафора». Вытесненными из Филиала оказалось несколько опытных прозаиков... Все это было сделано исключительно ради того, чтобы не удалось при филиале СРП создать сильную секцию прозы, которая, не дай бог, перетянула бы одеяло на себя, а с ним и материальную поддержку москвичей, если бы такая была.

Раздробленность в результате этого только усугубилась. Хотя литературные силы у нас имеются – русской пишущей публики в Латвии не так уж мало. Официально функционирует филиал Союза писателей России (не путать с СРП), возглавляемый Буйловым. Владимир Новиков правит кораблем детских авторов. Поэт Сергей Тимофеев – небольшим авангардистским поэтическим объединением «Орбита». Вера Панченко – «Метафорой». Кроме того в Латвии существует много начинающей пишущей молодежи – на литературные конкурсы всегда приходят сотни рукописей.

Но все настолько разобщены, что вряд ли можно сказать – они делают русскую литературу в Латвии. Поэтому и приходится считать, что русской литературы как единого художественного явления в Латвии нет. Есть отдельные авторы, иногда стихийно сбивающиеся, как волки в стаю, в небольшие любительские группы. Об их литературных достижениях говорить тоже не приходится. «Опредмеченные» результаты деятельности этих авторов, если и появляются, то в подавляющем большинстве за пределами Латвии, становясь фактами уже российского литературного процесса.

Наверное, пришла пора закругляться. Хотя можно было бы написать еще о многом. Только кому все это интересно? И главное – то, что сегодня с нами происходит, не интересно мне самому. Мы переживаем поразительный умственный упадок, какого человечество не переживало еще ни разу за всю историю своего существования. Его креативные возможности стремительно скукоживаются, как шагреновая кожа. Такое впечатление, как будто передо мной прокручивают кинофильм про обезьяну – как она когда-то, очень давно, лениво сползла с дерева, взяла в руки палку и занялась делом. А теперь она эту палку вдруг выпустила из рук, вернулась к дереву и примеряется, как половчее на него снова залезть.

Осталось сказать самую малость, о самом личном – о вере. Почему сегодня столько людей вокруг обращается к вере и к церкви? Возраст такой? Прозревают люди? А если наоборот?

Как возникло религиозное мышление, мы хорошо знаем. Только мне всегда казалось, что это знание входит в противоречие с тем, как такое мышление прорастает в отдельно взятом человеке. Почему человек так охотно впадает в это состояние именно сегодня?

Тут, по-моему, действует один мало изученный, но безотказный механизм. Он и заставляет человека – даже не верить (человек, в принципе, не задумывается, есть ли Бог или нет и что это такое), – заставляет его молиться, просить о защите и спасении.

Суть этого механизма в том, что, либо в нас изначально заложено знание обо всем, что нас ожидает впереди, либо мы себя, уже с малых лет, сами программируем на какие-то пугающие нас, грозные вещи.

Бывают минуты, когда мы, не отдавая себе в этом отчета, прозреваем и догадываемся о них. Это нам внушает сильные опасения, и мы, не осознавая до конца своих страхов, тем не менее, ощущаем потребность заклинать некие силы, молить кого-то о пощаде. О том, чтобы провидение уберегло нас от того, чего мы боимся и чего в своем будущем себе не желаем.

Этот механизм, должно быть, таким образом формирует нашу нравственность, нашу мораль, все наши этические и даже эстетические предпочтения. Потому что взамен за это спасение, верней, в надежде на него, мы как бы принимаем обет, а точнее – разные обязательства вести себя так или иначе, и налагаем на себя запреты. Эти запреты и есть в известном смысле приносимая жертва во имя прощения, защиты, гарантии того, что самое страшное с нами не произойдет.

Только все напрасно. Действие этого механизма в том и состоит, что самое нежелательное тем не менее с каждым из нас происходит. И

всегда в надлежащий час. Бог наделяет каждого именно тем, чего меньше всего тот хочет. Только в свой срок. Сроки эти нам не известны. И даже, может быть, если человек до своего срока почему либо не доживает, награда эта, то бишь «наказанье Божье» передается по наследству.

(Не в этом ли заключается секрет необходимости почитать своих близких? Возможно, мы заботимся об их здоровье и благосостоянии ради того, чтобы они сами смогли дожить до всех своих сроков и испить свою чашу до дна? Чтобы не пролилась она на нас?)

В этой связи вот что интересно. Если я раньше никогда не чувствовал свой возраст, то сразу после того, как мне исполнилось шестьдесят девять, я почувствовал его очень остро. Как будто гора на меня обрушилась. Я стал стремительно сдавать. Это, я думаю, включился мой механизм старения, поставленный, как бомба замедленного действия, на точное время. Я хорошо помню, как однажды в раннем детстве, когда мне было лет пять или чуть больше, я, посмотрев на своего деда, маминного отца, спросил ее, сколько ему лет.

– Семьдесят, – ответила она.

Я тогда очень удивился. – Такой старый? Ну, нет, я так много не проживу...

Почему я не забыл этот пустяшный разговор? Дети ведь быстро все забывают. Почему я помню и вспоминаю об этом до сих пор?

Похоже, тогда и включился мой психологический счетчик. Это «я так много не проживу», теперь как колокол, звонит во мне. Неужели мы, действительно, вот так закладываем свои сроки?... И вот они, мои семьдесят, все при мне, никуда не делись.

Помню еще один странный случай. Мне уже, наверное, лет пятьдесят, пятьдесят пять. Я зимой стою на трамвайной остановке, жду трамвая и как-то до неприличия пристально гляжу, как в метрах сорока от меня с опаской, боясь поскользнуться и упасть, парень на костылях собирается перешагнуть узкую, небольшую лужу из талого снега. Он тяжело навалился на них и, кажется, вот-вот рухнет в сугроб или в эту злосчастную лужу...

Я подумал тогда, садясь в трамвай, не дай мне Бог оказаться в таком положении.

И... Он дал!

Очень может быть, человек и его психика так устроены, что, когда мы слишком заостряем на чем-то свое внимание и к тому же поражаемся этому, мы автоматически программируем свое будущее, всю свою последующую жизнь, ее основные вехи. Наверное, на некоторых вещах, заведомо нам неприятных и нежелательных, не надо задерживать внимание. Иначе это отпечатается в памяти и в определенный срок даст

о себе знать. Сработает как ловушка, как капкан, как матрица. И тогда уже не отвертишься.

Жаль, что каждый раз мы слишком поздно понимаем это. Если это вообще зависит от нас. Впрочем, все может быть и наоборот. Может быть, в этом и состоит искупление грехов.

*Поздравляем Гарри Гайлита, многолетнего автора журнала «Даугава» и «Рижского альманаха», театрального и книжного критика, с недавно отмеченным 70-летием!*

*Редакция*

## ИРИНА КАРКЛИНЯ-ГОФТ

## МОЙ СТАРЫЙ ГОРОД

С детских лет у меня со Старой Ригой свои личные отношения. Да и разве можно относиться, как к памятнику, к живому существу, связанному с тобой множеством нитей, невидимых глазу, где на каждом метре – свой памятный узелок? Самый первый – всего лишь пятидесятилетней давности.

## Отец и Старая Рига

Помню серые слякотные сумерки, когда день, не успев разогреться, гаснет за крышами домов и шпилями церковных башен. Мы с отцом стоим на ветру недалеко от реки и смотрим на развалины Ратушной площади. Справа от нас площадь кое-как расчищена. А некоторые здания, ближе к набережной – почти не пострадали от снарядов. Только вид у них, как у нашей домашней облупившейся и растрескавшейся печки-буржуйки. А вот слева – сплошные груды камней, рядом с полуразрушенной стеной. Мне почему-то кажется, что чудом сохранившиеся в ней глазницы бывших полукругов окон нарушают картину общего хаоса.

Отец крепко держит меня за руку, чтобы я не вырвалась и не побежала к опасным развалинам.

– Ближе к Ратуше подходить нельзя, – говорит он. – Смотри отсюда и запоминай. Что бы там ни было, а Ратушную площадь и Дом Черноголовых обязательно восстановят. Ты доживешь. Площадь станет такой же, какой я видел ее мальчишкой в пятнадцатом году, перед тем как уехать из Риги.

– И слона тоже восстановят?

– Какого слона?

– Ну как же, того, где ночевал Гаврош, с потерявшимися мальчишками.

46

Мне только что прочитали книжку про Гавроша, и его героев я поселила в Старой Риге. Для меня это было так естественно. В послевоенные годы беспризорники составляли один из неотъемлемых штрихов города (кто знал, что через полвека жизнь опять сделает похожий виток). Помню их чумазые лица на площади около старого здания вокзала, под виадуком у Центрального рынка и выглядывающие из подвалов разрушенных домов Старого города.

Несколько позже по этим изогнутым узким улочкам в моем воображении ходили и герои сказок Андерсена, и Д'Артаньян, и Оливер Твист. Чуть ли не каждый поворот улицы, дом или вкопанная старинная пушка озвучивались реальными или придуманными мною событиями. У меня была общая, неразделимая с городом жизнь, начавшаяся задолго до моего рождения. Пусть бедная по современным потребительским меркам, но совсем не скудная, насыщенная яркими событиями и переживаниями.

До недавнего времени город был моим, и для меня предназначенным. Без чужих, раскрашенных, как театральная декорация, домов «под старину». Без сегодняшнего чувства неловкости и липкого страха, когда вдруг ненароком окажусь в роскошном магазине или кафе и готова провалиться сквозь землю под оценивающим взглядом новых хозяев жизни.

Улица Марсталу, 16. Отец называл ее почему-то Конюшенной. Сейчас к этому зданию примыкает японский ресторан, подчеркивая запущенность столь дорогого моему сердцу дома. Но наступит и его черед, он превратится в очередную декорацию, и ничто больше не будет напоминать, что здесь в конце сороковых годов находилось ремесленное училище, где мой отец служил директором.

Это учебное заведение тогда имело странное название – ФЗУ. Но у нас дома место службы отца называют школой. Я еще не выговариваю все буквы и на вопрос, где мой папа работает, отвечаю – в «тэле».

– Ну и что же, девочка, твой папа в «тэле» делает?

А что было самым главным для меня, четырехлетнего ребенка, в голодные послевоенные годы? Мой ответ хоть и очевиден, но вызывает смущенный смешок окружающих: «Папа там кушает».

Кому, как не мне, знать, что отцу в кабинет каждый день приносят обед. Обычный жиденький супчик (дома у нас его называют брандохлыстом), макароны с котлетой и кисель из фруктового порошка. Брандохлыст отец съедает сам, а макароны с котлетой сваливает в стеклянную банку, которую достает из портфеля. Там есть еще баночка поменьше, для киселя. И котлеты, и кисель – для меня и моего старшего брата.

– Товарищ директор, вы так быстро поели?

– Кто быстро работает, тот быстро и ест, – отшучивается отец.

Вечером мы с братом с нетерпением ждем отца. Нельзя сказать, чтобы мы дома голодали, но и сытыми тоже не были, поэтому любой лишний кусок для нас большая радость.

Нередко отец брал меня с собой в школу. Это было событием чрезвычайной важности, почти как праздник. Мне там нравилось буквально все: и большой письменный стол с папками, и круглая чернильница, и старинное кресло, сохранившееся, наверное, с бургерских вре-

мен. А больше всего – балкон, где я часами могла играть или смотреть на еще оставшиеся после войны разрушенные дома, до которых, кажется, можно дотянуться рукой. И конечно же мне принесут тарелку супчика с хлебом, когда настанет время обедать.

А после работы мы идем с отцом не напрямик домой по улице Аудею, мимо ресторана «Амур», где работает шеф-поваром наш сосед по коммунальной квартире, а петляя и останавливаясь то на Домской площади, то у домика Петра, то у Шведских ворот, где можно потрогать вкопанные в землю стволы старинных пушек. Я уже привыкла к тому, что гуляя по Старому городу, отец обязательно пытается вспомнить, что здесь было до пятнадцатого года. Он часто путается, не находит многих домов и даже улиц. Особенно его раздражает махина нового здания Министерства финансов, которое мне нравится больше старых домов и никакой неприязни не вызывает. Но я привыкла к нашим прогулкам-кружениям и понимаю, что если отец остановился и молчит, значит, вспоминает что-то свое, детское. Исчезнувшую улицу, примыкавшую со стороны реки к Ратушной площади, или постройки вокруг Домского собора, которые были снесены еще в конце двадцатых годов. Домский собор у нас в семье называют Домкирхе. Больше всего отцу жалко, что возле собора разрушили какой-то дом Крепша. Там располагался знаменитый ресторан. Не чета какому-то «Амуру», из двери которого всегда несет прогорклым маслом. В ресторане работали родители гимназического друга моего отца. И сравнивать их с нашим соседом-поваром – полное кощунство.

Останавливались мы и возле старого дома на Кузнечной улице (Калею). Отец уверял меня, что во времена его детства кто-то при перестройке этого здания нашел замурованный в стене человеческий скелет в цепях. Все газеты тогда писали об этом.

В день зарплаты – отец называл ее получкой – мы не гуляем по Старому городу, а спешим в Коммерческий магазин, который позже стал Центральным универмагом. По этому поводу отец непременно вспомнит, что на месте современного здания когда-то стояли большие амбары. Меня же амбары совсем не интересуют. Сохранись они до сих пор, где бы мы с отцом покупали теперь долгожданное песочное пирожное с кремом? У него восхитительное название – «Луна». Большие полукруглые колпаки-лампы у меня тоже ассоциируются с Луной. Они висят под потолком Коммерческого магазина, освещая прилавки с шоколадными фигурками, конфетами и пирожными.

Девчонке с двумя громадными белыми помпонами на шапочке, которая стоит впереди нас, покупают сразу несколько шоколадных фигурок. Пережить это трудно. Когда она с родителями уже отходит от



прилавка, я сзади дергаю ее за отвратительно аккуратные белоснежные помпоны. Шапочка съезжает у нее с головы. Родители девочки с криком набрасываются на меня. Я еще ничего не понимаю по-латышски и молча, со страхом, смотрю в их разгневанные лица. Отец с чеком подспекает вовремя. Крик прекращается после нескольких спокойных латышских фраз отца.

– Что ты им сказал? – любопытство берет верх над страхом перед тем, что меня сейчас отведут в милицию.

– А что ты ей сделала? – недоумевает отец. – Может, извинишься?...

Но я уже не слушаю его, оглядываюсь вслед удаляющейся девочке, ехидно показывающей мне язык. Удовольствие от пирожного несколько испорчено, но зато меня переполняет чувство гордости. Ведь у меня такой замечательный отец, всегда может уладить любые последствия моих глупых выходов. Правда, иногда отец меня очень удивляет. Но это опять касается старого города. Лелея свои воспоминания о Риге начала века, когда все дышало стариной, он вдруг начинает сокрушаться, что от нее уже тогда осталось совсем немного. Только позже я поняла, как прав был отец. Все, что мы сегодня видим, это лишь иллюзия древности. Сохранившиеся дома в Старой Риге в основном – постройки XVII-XIX веков, а я в детстве так свято верила в средневековый город, в то, что хожу по средневековым улицам. И, конечно же, могу в мечтах зайти в старинный дом, в столовой которого меня ждет целое блюдо с пирожными «Луна».

## Моя мама, немцы и их город

Смутно помню разрушенные дома вокруг церкви Петра, вернее, вокруг обезглавленного здания, совсем не похожего на церковь. Оно скорее напоминает средневековый замок из моей детской книжки. Мы с мамой наблюдаем, как расчищают улицу пленные немцы. И вдруг мама вступает с ними в разговор на незнакомом мне языке. Откуда она его знает? И почему так волнуется? Мне еще невдомек, что это – немецкий, второй мамин родной язык, и что мои бабушка и дядя сосланы в далекую Сибирь только за то, что по паспорту они тоже немцы. Нет, не фашисты из Германии, а советские немцы, родом из Прибалтики. Обо всем этом я узнаю, когда немного подрасту. А пока что я с недоумением вглядываюсь во взволнованное мамино лицо и в посветлевшие лица пленных. Почему-то нас быстро прогоняют люди, говорящие по-русски. А мама ведет себя очень странно, долго молчит, а потом просит меня не рассказывать отцу о том, что она разговаривала с пленными.

После этого случая в моем сознании необъяснимым образом завязались на всю жизнь в крепкий узелок – Старый город, мама и немцы. Все последующие знания по истории уже накладывались на эту интуитивно воспринятую матрицу. Чуть позже школьницей, гуляя по Старой Риге вместе с мамой и только что вернувшейся из Сибири бабушкой, я вспомню тех пленных и спрошу: «Старую Ригу построили немцы? Это правда?» – И получив утвердительный ответ: «А куда они делись? Бросили все и уехали? Почему же они не возвращаются, как вернулась бабушка?»

– Вырастешь, узнаешь. Только никому не рассказывай, какой национальности твои родные. Заруби себе на носу – это не принесет тебе ничего, кроме беды.

Как странно устроен мир. Немцев почему-то считают плохими людьми. Они развязали столько войн, пришли на берега Даугавы, построили город, а потом спустя несколько веков опять пришли и разрушили его. В учебниках по истории говорится, что немцы угнетали латышей, предков моего отца. Но их Черный рыцарь совсем не похож на моего добрейшего дядю Рихарда, который чуть не умер на Байкале. Я знаю, он и мухи не обидит. Мой детский ум никак не может постичь странностей и несправедливости мира взрослых. Особенно это разделение по национальностям.

Я знала, что еще недавно, во время войны, в Латвии евреев расстреливали, а в Советском Союзе немцев – ссылали. На войне немцы убивали и русских, и латышей. Это меня ставило в тупик, в голове была полная каша.

– Все лабуки – фашисты, – втолковывала мне соседская девочка, дочка военного.

– Все русские – свиньи. Вы скоро уберетесь отсюда! – раскричалась во дворе толстая Аусма, когда мы ей мячом разбили окно.

– Ты дружишь с Ривкой? Разве ты не знаешь, кто она?

– А кто?

– Еврейка!

– Ну и что?

– Как что? Ты ничего не слышала про еврейских врачей? Ну и ду-ура! А впрочем, сама-то ты кто?... На русскую не похожа, хоть и русская...

Действительно, кто же я? Твердо знаю, что рижанка. Говорю по-русски, другие языки даются с трудом. Вся в латышку бабушку, прожившую двадцать лет в России, но так и не выучившую толком русский язык.

– Холодно в доме, надо курить, – удивляла она соседей, имея в виду, что пора топить печь. Курить – это от латышского *kurināt*.

Однажды наша учительница истории потрясла меня тем, что

рассказывая о Средневековье, вдруг связала его с сегодняшним днем. Оказывается, у каждого современного человека в средние века можно насчитать несколько тысяч предков родственников. Воображение сразу перенесло меня в Старую Ригу, где почти все жители – одной крови со мной по отцовской и материнской линии. Эта мысль не раз согревала меня и радовала. Старая Рига – мой город, единственный, другого такого нигде не было и не может быть. Вот у моих одноклассников есть и другие города – там, в России, у большинства латышских сверстников – хутора и маленькие городки Латвии. А у меня – только Старая Рига.

## Я сама и Старый город

Наша школа стоит рядом с гостиницей «Метрополь» на границе Старого города. Большая часть моих одноклассников живет в сумрачных домах, в окна которых никогда не заглядывает солнце. Зато пустыри на месте разрушенных зданий залиты солнечным светом. Среди старых камней ярко зеленеет трава. И земля, столетиями прятанная под домами, пахнет необыкновенно остро. Мне никогда не забыть этот запах, который трудно передать словами. Больше нигде не чувствовала такой сильный, пряный аромат сырости и битого старого кирпича, смешанного с пьянящим весенним ветром с реки.

Весной и осенью на пустыре, расположенном между теперешним издательством «Петит» и уже сейчас успевшей обветшать, а тогда еще даже не выстроенной баней «Варавиксне», мы прыгали, бегали, играли в спортивные игры, а потом разгоряченные возвращались в школу, выбирая самый короткий путь по изогнутым улочкам Старого города.

На новогодние елки я любила ходить во Дворец пионеров – Старый Замок. Там всегда было многолюдно, весело и давали очень хорошие подарки. Но я шла туда не за этим, а чтобы покататься с деревянной горки, устроенной между этажами. Сядешь на одном этаже и, затаив дыхание, несешься вниз, на другой, где тебя подхватывают заботливые руки взрослых.

Рижский замок в своем детском воображении я тоже заселяла героями прочитанных книг и придуманными персонажами, будто бы жившими здесь в ливонские времена. А вот привидения жили у меня не в замке, а в старинном дворце Петра с бывшим здесь когда-то «висячим садом».

Зима 1956–57 года мне запомнилась обилием снега. Мягкий электрический свет, льющийся из окон, остроконечные крыши домов, тишина извилистых улочек создавали атмосферу сказки. Мне кажется, именно той зимой в кинотеатре «Комьяуниетис», где теперь находится казино, я впервые увидела мультфильм «Снежная королева». Очутив-

шись на улице после темного душного зала, домой идти не хотелось, и мы с подружкой решили пройтись в направлении набережной.

– Давай, каждый из нас выберет себе дом и сочинит о нем сказку или заселит его привидениями!

– Чур, моим будет Дворец Петра, – подхватила я.

Помню, я сочинила какую-то длинную историю о Петре I, приехавшем в Ригу. Он выходил ночью в «висячий сад» и каждый раз там появлялась женщина в зеленом платье и со свечой. Потом она водила его по комнатам дворца и спускалась вместе с ним в подземный ход. Как я закончила свою историю с привидениями, уже запамятовала, но мои детские фантазии неожиданно получили продолжение совсем недавно. Я сама вдруг оказалась той женщиной-привидением в зеленом платье и со свечой в руке. Кто знает, может в этом есть своя логика – ощутить себя привидением в родном городе?

Как-то пару лет назад, еще до неудавшейся попытки отстоять русской общиной дворец Петра, судьба занесла меня сюда выступить с несколькими лекциями о русской культуре Латвии. После лекции мы с моей старинной приятельницей отправились бродить по запущенным до трущобного состояния коридорам и подвалам в поисках «удобств». Хозяева снабдили нас свечами и объяснили, куда мы должны идти и где сворачивать в лабиринте полуподвальных помещений. На обратном пути мы, конечно же, заблудились. Свечи отбрасывали на старые стены трепещущие тени. Тянуло сыростью, по ногам гулял неизвестно откуда появившийся сквозняк. Одна свеча у нас погасла, будто кто-то специально задул ее. Пламя своей свечи я прикрыла ладонью, и мы оказались почти в полной темноте. Неприятный холодок пробежал по спине, когда откуда-то из глубины вдруг послышались осторожные шаги. Они явно приближались к нам.

– Тут кто-то есть, – театральным шепотом произнесла подруга.

Еще пара секунд – и от темного угла отделилась мужская фигура. Знакомый голос истопника из большой залы произнес басом:

– Это я, царь Петр! – И усмехнувшись, добавил: – Ба, да здесь привидение со свечой и в зеленом платье! А рядом – второе.

Мы прыснули со смеху. Интуитивно сразу нашли нужное направление к выходу и пулей вылетели во двор, а оттуда на улицу. Фонари и освещенные окна окончательно привели нас в чувство. В моей памяти всплыла придуманная когда-то в детстве история о привидении в Петровском дворце, которая теперь показалась чем-то вроде воспоминания о будущем, но с глубоким подтекстом и юмористическим привкусом.

На улице Калькю у освещенного подъезда Театра русской драмы снова нахлынули воспоминания. В этот театр меня впервые привели,

когда мне было лет семь. Играли «Ревизора» Гоголя. Я уже не раз бывала на спектаклях в ТЮЗе, они мне нравились, поэтому на взрослый спектакль тоже пошла охотно. Мы с мамой опаздывали, быстро пробежали фойе, которое я даже не заметила, и уже в темноте сели на свои места. Я смотрела на актеров в красивых платьях, прислушивалась к их словам и ничего не понимала до такой степени, что во время сцены в трактире мне стало почему-то страшно и безумно жалко бедного Хлестакова. Кажалось, эти расфуфыренные люди сотворят с ним сейчас нечто ужасное. Я громко, на весь зал разревелась. Мама вывела меня в фойе, и я ждала, что сейчас начнутся гневные упреки. Но неожиданно для мамы мне там очень понравилось, и я сразу успокоилась. Показалось, что я нахожусь в каком-то дворце: такого красивого и пышного интерьера мне еще не приходилось видеть. К сожалению, сейчас сохранилась от него только небольшая часть с лестницей около буфета, напоминающая общий вид старого фойе и зрительного зала.

Позднее, уже в подростковом возрасте, я долго не решалась снова пойти в Русскую драму, отдавая предпочтение своему любимому ТЮЗу, в котором мне нравилось буквально все, даже пыльный запах занавеса. Но однажды все-таки решилась и была вознаграждена сторицей. Ведь я успела застать еще несравненного Юровского в «Короле Лире»! Хорошо помню сразу понравившуюся мне Екатерину Бунчук в «Вишневом саде» и необыкновенные глаза молодой Подгурской, напоминающие бездонные голубые озера, и мягкую женственную игру Исаевой. Они навсегда остались для меня жить в Старом городе.

В шестидесятые годы местом «притяжения» в Старой Риге для многих моих сверстников стало знаменитое кафе «Дубль», которое находилось на бывшей улице Ленина, 5 (теперь ул. Калькю). Там, в небольшом закутке с сырыми, в каплях от пара кофеварки стенами, собирались полудиссидентствующие молодые поэты и художники. Публика была самая разношерстная, но удивительно самобытная. Такого разнообразия человеческих типов, собирающихся в одном месте посидеть за чашкой кофе, я никогда в своей жизни не встречала. Как-то раз меня туда привела моя ультрасовременная подружка-однокурсница. Пройдет немало лет, многих из постоянных посетителей этого кафе я хорошо буду знать, и они перестанут мне казаться такими необычными, как в те времена, когда мы совершали редкие, но очень запомнившиеся мне налеты в «Дубль».

Надо сказать, чувствовала я себя там неуютно, немножко белой вороной, но любопытство брало верх. Под надежным прикрытием своей разбитной подруги, которая была там, как рыба в воде, я с жадностью впитывала атмосферу прокуренного богемного «Дубля». Но при-

нять ее полностью, пропустить через себя, так и не смогла. Я была явно из другого теста. Не умела и не хотела, как все завсегдатаи, эффектно держать сигарету, пускать колечки дыма, покачивая ногой. Не умела с апломбом рассуждать о Вийоне или Эренбурге и стыдилась на людях читать свои стихи. Моя душа оставалась в старых, мощных брусчаткой улочках, на заснеженной террасе рядом с Англиканской церковью. А может, мне было просто жалко расставаться с иллюзиями детства.

## На ветру времен

Почти на том же самом месте, откуда мы с отцом пятьдесят лет назад смотрели на руины Ратушной площади, теперь застыли шагнувшие из прошлого три гранитных близнеца. Неуютно им стоять там в гордом одиночестве. Ирония исторических метаморфоз столкнула лбами бравых латышских стрелков с галантерейно отреставрированными достопримечательностями остзейской Риги. Соседство с пряничным Домом Черноголовых и гипсовым рыцарем Роландом, мне кажется, явно не по душе гранитным близнецам. Мне еще не было восьми лет, когда один из них, пятидесятипятилетний Август, перестал ходить по земле. Затем прошло лет двадцать, и он вместе со своими боевыми товарищами материализовался в этот памятник.

В граните Август удивительно похож на себя живого. Именно таким я его запомнила. Хотя в последние годы мне иногда кажется, что Августа, родом из Лигатне, вроде как и не было. И не арестовывали его, восемнадцатилетнего, в Валмиере 12 июля 1915 года вместе с другими делегатами латышских социал-демократов. И не было у Августа типичной биографии красного латышского стрелка, которая еще недавно считалась легендарной. Перефразируя известное выражение булгаковского Царя Тьмы о том, что рукописи не горят, беру на себя смелость утверждать, что и след человеческой судьбы не подвластен огню и ветрам. А ведь горел-таки памятник стрелкам при строительстве. Полыхал огнем на всю Старую Ригу. Но все же стоят стрелки монолитной глыбой, не канули в небытие.

В рижской квартире Августа над диваном висела большая литография с видом Старой Риги начала века. Я ее помню с того времени, как стала осознавать себя. Потом судьба развела нас с его семьей по разным концам города, но бывая у вдовы Августа, я всегда, как к старой знакомой, заходила в комнату, где по-прежнему на стене висела литография. Менялись времена, квартиры и мебель, старели и уходили люди, а картина для меня оставалась прежней. Как символ исчезнувшего прошлого, вобравший в себя все, что мне было дорого. Но вот настал черный день,

и я сама сняла литографию со стены и продала ее, чтобы заплатить врачу, лечившему тяжело заболевшего сына Августа. Мне за нее дали гроши, десятую часть той суммы, которая требовалась. Я чувствовала себя предательницей, но оставшемуся в беспомощном состоянии и одиночестве моему другу детства нужна была помощь, и я распродала немногие свои и его антикварные вещи. Тешу себя мыслью, что Август не особенно дорожил этой картиной. Он, в отличие от моего отца, Старую Ригу не любил и латышской ее не считал. Старые камни не вызывали у него никаких воспоминаний, он ведь вырос в Лигатне. И наверное, никогда не предполагал, что спустя полвека белобрысая маленькая дочка его приятеля, повзрослев, бывая на концертах в Домском соборе почему-то каждый раз будет вспоминать именно его широкоплечую фигуру в распахнутом сером пальто.

Одно из ярких воспоминаний детства всплывает в моей памяти почему-то именно под звуки органа. Уже при первых аккордах сильные руки Августа поднимают меня и подбрасывают высоко в воздух. Мне весело и в то же время страшно.

– Видишь петушка на колокольне? Еще не видишь? Ну, я тебя выше подброшу. Вот оттуда я на вас с моим сынишкой смотреть буду, когда станете взрослыми. И радоваться, какая прекрасная у вас будет жизнь.

А у самого глаза печальные, и кажется, не очень-то он верит сказанному. Но место, откуда он собирался смотреть на нас, Август угадал почти точно, от Домской площади до Ратушной – рукой подать. Хотя о памятнике на берегу Даугавы, я думаю, Август и не мечтал. Легенды вокруг стрелков, возведение их в герои и последовавшее затем низвержение, – все это уже после его смерти было. Как и фотографии Августа в книгах и в несуществующем теперь Музее красных стрелков.

Август считался хорошим инженером, «спецом» своего дела. Недаром в 30-е годы его посылали на стажировку в Англию, о чем он любил рассказывать. А вот про свою молодость красного стрелка вспоминал неохотно. Чувствовалось, что те далекие годы обожгли его и не давали покоя, как незажившая рана. Август был из тех людей, которые, испытывая душевную или физическую боль, крепко стискивают зубы и молчат, чтобы другие, не дай Бог, не заметили их страданий. Так он и умер в свои 55 лет – молча, держась до последнего. Только изредка крепкие латышские словечки повисали в стерильной тишине больничной палаты.

Я иду через всю Ратушную площадь к трем гранитным близнецам, чтобы поклониться Августу. Какая-то парочка, ожидая троллейбус, прячется от ветра за памятником. Но от сильных порывов за Августом не спрячешься, подбирает до костей.

– Хоть бы польза какая была от этого памятника, – говорит девица. – Стоят здесь неизвестно зачем. Скоро уберут этих громил отсюда.

– Вам того хочется? – вмешиваюсь я. – А как же быть с историей?

– Ваша история что дышло, куда повернешь, туды вышло, – бросает уже на ходу девица, убегая со спутником к подошедшему троллейбусу.

Я остаюсь одна, в сумерках поживаясь от пронизывающего ветра. Гаснет еще один день. Бросив взгляд на силуэты в каменных шпильях, я отправляюсь мимо ярко освещенного Дома Черноголовых на поиски заветного уголка, изображенного на проданной литографии. Может, сегодня повезет... И ловлю себя на мысли, что кажется – совсем недавно ходил вот также по Старой Риге и мой отец, в поисках домов и улиц своего детства. Как незаметно пролетело полвека!

Чистый звук виолончели уличных музыкантов мягко льнет к стене Домского собора и, отражаясь от вековых камней, как белый носовой платок, стирает модный макияж с ярко раскрашенных домов. Какой ты будешь, Старая Рига? Кто вы, новые Рижане?

*2001 г.*



## РОАЛЬД ДОБРОВЕНСКИЙ

## НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ

Настоящие стихи, как известно, никогда не врут, и правота их подтверждается всякий раз сызнова. Тютчевские строки: «Нам не дано предугадать, / Как наше слово отзовется...» отозвались в этой истории самым неожиданным образом.

Лет тридцать назад я перевел несколько стихотворений Иманта Зиедониса, в том числе и такое... (Для тех, кто может прочесть и понять его в оригинале, приведу целиком, а затем переведу текст буквально, слово за словом; получающийся таким образом «подстрочник» в свое время служил сырьем для переводчиков с десятков языков многонационального СССР; западные языки переводчикам полагалось знать).

Итак, давнее стихотворение Иманта Зиедониса, далеко не самое известное и я бы сказал – основательно подзабытое даже латышским читателем.

*Kādām dīvainām kustībām, greizām un lauztām,  
Kādām dīvainām drēbēm, kas zin no kā austām,  
Kādām dīvainām acīm – kā paegļu mežs,  
Gar mūsu vārtiem gāja cilvēks svešs.  
Un tu man teici: „Tas gājējs tēlo.  
Kāpēc viņš tā runā caur vakaru vēlo?”*

*Pie vārtiem viņš apstājās, sauca mūsu suni,  
Kā kaulu tam pasvieda malduguni  
Un prasīja: „Kā jūsu krupi sauc?  
Vai viņš izlien no paklētis, kad govi slauc?”  
Un tu man teici: „Tas gājējs tēlo.  
Kāpēc viņš tā runā caur vakaru vēlo?”*

*„Vai deg jums svecītes pirkstu galos?  
Man ir zelta sirds. Vai gribat, lai ar jums dalos?  
Un kuru daļu lai jums dod –  
To, ko saprot? Vai to, ko nesaprot?”  
Un tu man teici: „Tas cilvēks tēlo.  
Kāpēc viņš tā runā caur vakaru vēlo?”*

*Mēs toreiz pa vārtiem to neielaidām.  
 Tagad gaidām. Vēlreiz gaidām.  
 Bet nakts kā nakts, un diena – kā diena.  
 Gova gadā noēd kaudzi siena.  
 Bet nenāk krupis pēc mīsi piena.  
 Un dīvainā cilvēka – arī nav neviēna.*

Подстрочник (ценность которого именно в буквальности; неловкость выходящих тут словесных построений не должна смущать):

*Какими странными движениями, кривыми и ломаными,  
 В какой странной одежде, кто знает из чего сотканной,  
 С какими странными глазами – как можжевельный лес –  
 Мимо наших ворот шел человек чужой.  
 И ты мне сказала: «Этот прохожий играет  
 (что-то такое изображает, как актер).  
 Отчего он так говорит сквозь вечер поздний?»*

*У ворот он остановился, позвал нашу собаку,  
 Как кость кинул ей светлячка  
 И спросил: «Как зовут вашу жабу?»  
 Вылезает ли она из подклети, когда доят корову?»  
 И ты мне сказала: «Этот прохожий играет.  
 Почему он так говорит сквозь вечер поздний?»*

*«Горят ли у вас свечи на кончиках пальцев?  
 У меня золотое сердце. Хотите, чтобы я с вами поделился?  
 И какую часть вам отдать –  
 Ту, которая понятна? Ту, которая непонятна?»  
 И сказала ты: «Этот человек играет.  
 Почему он так говорит сквозь вечер поздний?»*

*Мы тогда в ворота его не впустили.  
 Теперь вот ждем. Еще раз ждем.  
 Но – ночь как ночь, день как день.  
 Корова съедает за год гору сена.  
 Но не приходит жаба за нашим молоком.  
 И странного человека тоже – ни одного.*

Перевод, понятное дело, обязан отличаться от подстрочника. Стихотворение, рассыпавшееся на отдельные слова, должно возник-

нуть заново, возродиться уже в другой языковой системе. Восстановление, вернее, выстраивание заново ритма и рифменных созвучий – лишь внешняя часть задачи, суть которой в возможно полном воссоздании глубинного смысла стиха, того, что содержится иной раз не столько в словах, сколько в веществе поэзии, не вполне материальном. При этом «то же самое» получиться не может по определению – никогда. Будет иное, но это иное должно быть максимально родственно оригиналу и в целом, и в деталях.

Насколько сказанное относится к моему переводу, не берусь судить. Во всяком случае, вот что у меня тогда получилось.

*Странным шагом, неверным, как голос в тумане,  
В странном платье из странной, неведомой ткани  
Мимо наших ворот человек проходил.  
Точно лес можжевельный, взгляд его был.  
И сказала ты: «Что у него за душой?  
Для чего он тут ходит так поздно, чужой?»*

*Но собака признала нежданного гостя.  
Он ей кинул болотный огонь вместо кости.  
«Пьет ли жаба в хлеву молоко по утрам?  
Кстати, как ее звать?» – обернулся он к нам.  
И сказала ты: «Что у него за душой?  
Что за речи завел он так поздно, чужой?»*

*«А горят ли концы ваших пальцев свечами?  
Мое сердце из золота. Поделиться ли с вами?  
И которую вам половину отдать?  
Ту, что вам непонятна? Ту, что можно понять?»  
И сказала ты: «Что у него за душой?  
Для чего он тут бродит так поздно, чужой?»*

*И прохожего мы не пустили в ворота.  
А теперь ждем-ждем, ожидаем кого-то.  
Но всегда – день как день,  
ночь как ночь, дом как дом.*

*Жаба в хлев не торопится за молоком.  
Поедает корова стог сена за год.  
Никаких незнакомцев  
возле наших ворот.*

Наверняка не обошлось без потерь. Не все зависит от переводчика. Например, у латышей есть поверье: если жаба заявляется в хлев попить молока, это к добру. Притом эта самая жаба в латышском языке – не «она», а «он». Разъяснить все это внутри стихотворения русскому читателю никак невозможно. А сноски, комментарии нежелательны, они способны повредить восприятию поэтического текста.

Сместились и некоторые акценты. Ну, например – слово «чужой», употребленное автором лишь однажды, у меня встало в конце рефрена, завершая его, и сделалось самым акцентированным, самым ударным, можно сказать, главным словом стиха. Могло быть иначе. Можно было перевести рефрен, к примеру, так: «Ты сказала: „Тут что-то не так. В поздний вечер / Нам совсем ни к чему эти странные речи”». Было бы даже «ближе» к оригиналу. Но тогда бы, по-видимому, не состоялось ничего из того, что будет описано ниже.

Перевод опубликовали в журнале, в одном из московских изданий, в Антологии латышской поэзии... Чуть ли не от самого Иманта Зиедониса я услышал, что этот перевод очень хвалила ему Мирдза Бендрупе, латышская поэтесса, много лет прожившая в Крыму, прекрасная переведшая на родной язык пушкинского «Онегина».

А затем все, как говорится, смешалось в доме Облонских. Никогда не уезжая, мы оказались к началу третьего тысячелетия от Р. Х. жителями другой страны с другим государственным строем; мы вдруг очутились в новом мире с нарастающей лавиной информации, с интернетом, очевидно воплотившем в себе мифический ящик Пандоры. Бывали в истории столетия, менявшие для человечества гораздо меньше, чем два десятка лет, прожитые с тех пор всеми нами.

И вот однажды я припоминал события и занятия той прежней, давно ушедшей жизни. И строки, свои и чужие, относящиеся к тем временам. С огорчением обнаружил, что запомнил пару строк своего перевода из Зиедониса, которым вообще-то дорожил. И наудачу набрал в поисковой строке Google'a: «Странным шагом, неверным, как голос в тумане...»

Тут-то меня ждала ошеломляющая новость. Оказывается, в России давным-давно, почти четверть века назад, это стихотворение Зиедониса в моем переводе сделалось песней, притом не простой, а что называется «культовой»; оказывается, эти четыре строфы стали буквально судьбоносными для известного ныне русского музыканта, певца и композитора Андрея Мисина, а сама песня не только жива, но и совсем недавно выложена в интернет в виде нового, чрезвычайно сильного *клипа* – употребляю слово, которого в прежней своей жизни, правду говоря, даже не слышал.

Но процитирую отзывы слушателей, недавно мной обнаруженные в том же интернете.

«В 1989 году слушал Мисина живую на каком-то сборном концерте. Ох, он тогда «Чужого» дал! Тому уж больше 20 лет, а я до сих пор помню, как продрало до костей.»

«Песня про Бога.»

«Молодец! Хорошо сделал. Получилось даже слегка жутковато, то есть как и сама песня.»

«Потрясающая песня! Пробирает дрожь от этой мистики, от inferнальности, да еще в таком завораживающем голосе Мисина...»

«Таинство, мистика и еще что-то. Просто исключительно. Слов не хватает, как околдовывает душу!!!»

«Просто супер!»

«Обалденная песня!»

Ну, виноват я. Отстал, не слежу за музыкальными событиями в России, многое пропустил. Захотелось больше узнать о композиторе. Читаю: «Андрей Мисин стал одним из открытий 1989 года. Его песня «Чужой» и необычный музыкальный стиль привлекли к певцу и композитору самое пристальное внимание.»

«...И уже вскоре Андрей Мисин был знаменит на всю страну благодаря песне «Чужой»...»

Первая авторская грампластинка, выпущенная композитором в том же 1989 году, называлась так же: «Чужой».

В одном из давних интервью певца и композитора (его вещи поют Пугачева, Леонтьев, Орбакайте; сам он называет эту часть своего творчества «работой на рынок») читаем:

«Десять лет назад, после бесконечных проб и ошибок, Бог вывел меня на стихотворение «Чужой». Я, можно сказать, неосознанно написал балладу. До меня не сразу дошло, что это достаточно религиозное произведение. В контексте... звучит тема Христа, пришедшего и говорящего: «Вот все, что вам нужно», а ему отвечают: «Да пошел ты! У нас и так все есть!»

Нужно сказать, ни в оригинале, ни в русском переводе названия этого – «Чужой» – у стихотворения не было. Но слово это, трижды, как заклинание, повторенное в русском тексте в заключение рефрена, композитор еще и полностью отделил от всего предыдущего, дал как бы особой строкой. Это слово – «чужой» – с огромной силой произ-

носится, пропеваётся после паузы и, соглашусь с одним из слушателей, действительно «продирает до костей».

Вкладывал ли Имант Зиедонис в свое стихотворение именно тот смысл, который выявился в прочтении русского композитора? Думаю, вряд ли. Но ведь и до самого композитора «не сразу дошло», в какие глубины и высоты занесло его, да и нас с ним вместе. Дело в том, что, отпущенное в самостоятельное плаванье, авторское творение неизбежно прирастает новыми смыслами, раскрывается гранями, о которых сам творец мог не подозревать. И в то же время возможность этих расширений, разрастаний заложена в первоначальном замысле, как древесная крона в малом семечке.

Что касается песни «Чужой», – ее можно послушать, а при желании и скачать бесплатно на свой компьютер; найти ее просто – наберите в поисковой строке слова «Станным шагом, неверным, как голос в тумане...»

Песня, поверьте, редкостная, к музыкальному ширпотребу, к нынешним скоротечным «хитам» поп-музыки никак не причастная. Впрочем, зачем верить мне на слово. Проверьте. Слушайте, смотрите, судите сами.

---

## ТЕКСТ

ИГОРЬ ТРОХАЧЕВСКИЙ

### ВЕТРОМ ОСЕННИЙ ЛИСТ

С т о д в а д ц а т ь п я т ь

Ешьте меня жадно,  
Ешьте резво – без ножа.  
Тельце мое принимая  
За постороннего ежика.

Сознания свет не включился.  
Я – сладкое мясо Вам!  
Белая ночь – на второе...  
И хлеб – сто двадцать пять грамм.

Полгода прожил я на свете...  
На улице Тракторной, вот...  
Сами вы – людоеды...  
Блокадники – мой народ...

–

Народ и младенца бросили.  
Голодный чужой Ленинград.  
А нынче повсюду склады  
Бадаевские горят.

## К о н и

Встретились, потрендели...  
Стыковка щекотно прошла...  
И правда, и в самом деле –  
Естественные дела...

Музы́ка под смелые вина,  
Горячий физкульт-расслабон...  
Она влюблена сильно-сильно,  
Он же взаправду влюблен...

Так и случаются семьи...  
Букетом цветным по мордАм...  
– Милая, эти змеи...  
– Милый, я Щас как дам...

У дятла не сносит башню  
От фразы – Ты мне никто...  
И «ходят», и «ходят» страшные  
Дятлы и кони в пальто.

## Ч а й н и к

Можно – я чайник поставлю...  
Чайник поставлю – можно...  
Пустой – и внутри, и снаружи...  
Да я без огня – осторожно...

А разрешите – присяду...  
ЧуткА пошуршу газетенкой...  
Манды-ерунды не читая,  
Но закипая тихонько...

64

Давайте – играть... Я – чайник...  
Большой и полный тротила...  
Взорвусь по проспекту Свободы –  
И в радужную могилу...

Идите вы шагом... Каждый  
Местами взорваться рад...



Страшнее тротила – горечь...  
А вы все – теракт, теракт...

З а л о ж н и ц а

*Жертвам Норд-Оста*

Я пригласил девушку –  
На листопад с дождиком.  
Она мне в личку загадочно –  
«Все мы ходим под зонтиком».

Место встречи рядышком  
С пивнухой «Забитая стрелка».  
Сплошь виртуальные связи  
Рвите. Иначе – «белка».

Общаться вживую – стремно.  
Для расслабухи – надо.  
Плюс – романтика. Время  
Ржавого листопада.

ПышШное увяданье  
В лужах промАсленных тонет.  
Я с гладиолусным венником –  
Женя Кисин на стреме.

Девушка вышльывает...  
Воздушно-психушный фронт.  
Рука припОднята. Явно –  
В руке невидимый зонт.

Дождика нет. А девушка  
Накрыла – как медным тазом...  
– Не знаешь... Кто этот... Сверху...  
Плюет на нас... Хитрым газом.

М а н г а л ь с а л а

Детский тапок на ветке...  
Дикий куст, но обутый...

Плещутся малолетки –  
Беспечностью звездануты...

Доносится – Маза фака,  
Шел бы ты, Ихтиандр...  
Рядом лает собака...  
Прямо Блок Александр....

До маяка не близко...  
Прямо по дамбе туда...  
Рижский залив, не Рижский...  
Чайки, песок, вода...

О б ы к н о в е н н ы й ф а ш и с т

Нежно-нежно я трахнутый  
Ветром осенний лист...  
Если сУрьезно копатья –  
Обыкновенный фашист...

Как из норы выбираюсь –  
Путь напрямки в магазин...  
Хлеб, сигареты, спички...  
И защищаюсь один...

Я из отдельной деревни –  
Жду, когда же война...  
Тускнеют люди от скуки –  
Мордует всех тишина...

Дают над собой издеваться  
Клоунам и хорькам...  
Слуги народа, ёксель...  
Вдарить бы им по рогам...

Вот и пытаюсь выстоять...  
Психозное равнодушие  
Снаружи... А я рассеянно  
«Дивизию радости» слушаю.

## С у б л и м а ц и я

Баба пьяная рыдает... В дымину пьяная и в коромысло...  
– Отчего я такая несчастная?! Отчего с мужиками непруха?..  
На кухне рыдает, занавеской утирается... А дальше – с табурета встает –  
Да как саданет собутыльнику в ухо...  
– За что? – мужичОнка удивляется,  
Неприметный, с улицы подобранный...  
– За что?! За что?! – баба ухмыляется, – а за то, что  
Все мужики – Сво, все мужики – Ко, все мужики – Му...  
МужичОнка, побитый Шарикович,  
Побежал, встал и испарился...  
Пока бежал, за бабу договаривал вслух, с испуга –  
– Сво – сволочи, Ко – козлы, Му – мудаки...  
А баба успокоилась, протрезвела – и пошла  
Слова на бумаге начертывать...  
– «Судьба моя – дорога светлая.  
– Иду я по дороге этой.  
– Звезда моя, всегда приметная,  
– Пленяет взоры добрым светом»...

## Д е т с к о е

В желтую курточку выкрасит мама...  
Сказкой, расческой выгонит вшей  
Сопротивленья этому миру –  
И поведет на квартиру подруг...

Там ты расскажешь про курочку Рябу,  
Про дедку и репку... Сказки для взрослых –  
Усталых от войн в комфортабельных душах...  
И тетя-горбунья скажет – Аргист!..

А в мамином сердце растет изумруд,  
За синим окном проплывают солдаты,  
Одетые в олово... Андерсен – Бог...  
И мир – это... Запахи-звуки-цвета...

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВ

## ТРЕЩИНА В СЕРДЦЕ, НОВОГОДНЯЯ ЛАВСТОРИ

В подвальчике, между посольствами России и Украины, где сейчас спа-салон, когда-то было кафе с неважно каким названием. В нем я встретил то ли 93-й, то ли 94-й год.

Вечеринку устроил небезызвестный в Риге культурмейкер, которого все звали просто Лёлик. Он вел на телевидении передачу «Ажуж», и в титрах ее он тоже назывался Леликом. Это, как оказалось, не псевдоним, а сокращенное от Леопольда, его настоящего имени.

Передачу выпускала телекомпания, которая располагалась в здании бывшего пункта приема стеклотары. Владелец телекомпании когда-то этим пунктом заведовал, потом приватизировал его, а потом открыл на его базе частную телекомпанию, единственную в Латвии, которая во баснословное время делала авторские передачи на русском языке.

Одна московская звезда балета, которую привезли сюда на съемку, выйдя из авто, произнесла, разинув рот от изумления: «Ну и сарай!!!»

Сарай не сарай, но телекомпания была хоть и бедной, провинциальной, но живенькой, талантливой и непафосной. Благодаря тому, что с ней сотрудничали всякие контркультурщики, неформалы, которые считали телевидение не только средством массовой информации, но и формой искусства. Их передачи я смотрел с интересом.

Я познакомился с Леликом на одном литературном мероприятии (которое он же и организовал), и даже промелькнул в одном из выпусков «Ажужа», промычав нечто сугубо культурное.

Потом владелец телекомпании передачу закрыл, заявив Лелику: «Твой «Ажужуй» никто не смотрит, кроме пары десятком твоих сумасшедших друзей в платках!»

«Платками» телемагнат назвал разноцветные банданы с черепушками и турецкими огурцами, в которых, не снимая их, щеголяли Лелик и его друзья.

Телемагнат, конечно, говорил неправду: передача была популярной. Видимо, просто времена менялись: на смену не очень умелому, но храброму экспериментаторству начала 90-х шел профессиональный конформизм, который цветет до сих пор.

Лелик перешел в другую телекомпанию, но название «Ажуж» почему-то принадлежало не ему, и он стал называть свой продукт «Жажу». Разницы никакой, ведь и то и другое – незнамо что!

Незадолго до НГ Лелик сообщил мне, что организует недорогую

НГ-вечеринку «для своих». В скромном, но приятном заведении.

Я внес денежную долю за себя и за барышню, с которой намеревался прийти. Барышня работала в сфере шоу-бизнеса, помощницей администратора, что ли, она была крашеной блондинкой, носила ажурные колготки и шляпку с матерчатой розочкой, и красила ногти в черный цвет, что для того времени было очень смело.

И на вечеринку эта барышня не явилась! Позже она сказала, что помогала устраивать шоу-представление в ночном клубе, отпросилась ради меня у начальства пораньше, но поскользнулась на лестнице клуба, ушибла копчик, сломала ногти на руках, порвала колготки, расстроилась, расплакалась, с ней случился истерический припадок, ей дали успокоительного, она потеряла шляпку с розочкой, напилась, подралась с гардеробщицей и очнулась 2-го января в Юрмале, в кровати у школьной подруги.

Так я ей и поверил! Небось пихалась, дрыгая ногами, с каким-нибудь шоуменом в гримерке и повизгивала!

Но я расстроился не столько из-за того, что она не пришла – ибо наши отношения едва-едва начинались, и я еще не успел к ней привязаться сильно – а из-за того, что зря потратил деньги. Я мог бы пригласить какую-нибудь другую барышню, например, ту, которая носила кожаные галифе, красила волосы в синий цвет и увешивала свои руки и шею ювелирными изделиями из гаечек и шурупчиков (что показалось бы смелым и сегодня).

Общий сбор назначили в 19.00, я пришел вовремя и застал разборку между двумя владельцами кафе: рослой массивной дамой с высокой прической и низеньким, но плотным мужчиной, бритым под ноль. Рядом с ними стояло несколько «наших» во главе с озадаченным Леликом.

В чем дело, я так и не понял. Но мужчина заявил: «Я вернусь сюда через пару часов и чтоб никого из вас тут не было! Вы уже заплатили ей деньги? – он кивнул на даму. – Вам компенсация нужна? Вот вам компенсация...» – мужчина небрежно кинул на один из накрытых столов несколько купюр, которых хватило бы разве что на тазик «оливье». – И повторив: «Чтоб через два часа никого из вас здесь не было!» – вразвалку удалился.

Лелик повернулся к даме: «Что это было?»

«Не надо обращать свое драгоценное внимание на каждого прохожего идиота, – ответила дама, – располагайтесь, почувствуйте себя, как дома, отдыхайте расслабленно и весело встречайте Новый год».

«Но он ваш компаньон, как я понял!»

«Бывший. Бывший. Теперь он никто, ноль. Ноль без палочки...» –

и дама ушла на кухню, отдавать последние распоряжения обслуге.

Кажется, компаньоны не поделили собственность. А нам нисколько не улыбалось попасть в эпицентр их деловых разборок. Братва с дробовиками на нашей НГ-вечеринке – мы такого номера не заказывали!

А для 90-х это был рядовой аттракцион.

Но все обошлось, шоу-бригада с хлопучками так и не приехала.

Я отплясывал с веселой пышной девицей, которая в такт музыке таранила меня своим нехилым бюстом и вряд ли бы возмутилась, если бы я дал волю рукам. Веселые пухленькие девицы всегда готовы были щедро одаривать меня своими сочными плодами, но мне в то время нравились исключительно капризные, истеричные, изможденно-ломкие декадентки (ох, сколько крови мне эти змеи испортили!), и я, закончив танец, церемонно поклонился своей партнерше, и проводил ее за руку до стула, как положено по этикету.

Я решил хорошенько надраться. И приступил...

Но тут явилась Она: тонкая, хрупкая и бледная как увядающий лепесток. Вся в черном. На пальцах – серебряные колечки. Под тонкой блузкой трогательно подрагивала грудь. Я взбодрился.

Но она была не одна. А со спутником. Правда, он уже лыка не вязал и, чуть добавив, улегся в кладовке под свое пальто.

Девушка осталась одна, под села к столу. Танцевать она не захотела, и я стал за ней ухаживать.

Меня не мучила совесть: ее парень не был мне другом, я с ним даже не был знаком. И вообще – когда у тебя такая девушка, надо быть бдительным, нечего зенки заливать, сам будешь виноват!

Вскоре мы оказались вдвоем в дальнем углу. Рядом шумели, пили, ели, прыгали и рыгали, но нам не было дела до остальных.

Мы шептались и нежничали, и, наверное, утром я бы повез ее к себе.

Но я совершил ошибку – хотя мне это не казалось ошибкой! – произнес несколько слов с корнем «люб».

Она – я даже имени ее еще не успел узнать, а она не знала моего! – резко отстранилась от меня: «Ну, зачем?! Зачем ты все испортил?! Ну, при чем тут эта сука – любовь? – она поднялась, дернула меня за нос и сказала: – А ведь так классно могли бы поебаться...»

И ушла. В кладовку к своему пьянице. И заперлась там.

Утром мы толкали чей-то «запорожец». Я вышел на улицу, смотрю: наших, человек пять, толкают старый «запорожец», чтобы тот завелся. Я присоединился. Уперлись, разогнали эту жестянку, она завелась, рванула, и мы, потеряв опору, грохнулись на белую от снега дорогу. Чей это был «запорожец»? Я забыл спросить...

Отряхнувшись, стали расходиться. Из кафе вышла Она, держа за руку своего протрезвевшего спутника. Она курила сигарету, а он с отвращением морщился от дыма. Не попрощавшись и даже не оглянувшись на нас, они побрели в сторону автобусной остановки.

Я позже поинтересовался у Лелика: «Кто такие? Откуда?»

Лелик пожал плечами: «Понятия не имею. Видел их впервые в жизни».

Я надеялся встретить Ее где-нибудь, город-то небольшой, но так никогда и не встретил.

Впрочем, Она ведь была не первой и не последней в моей жизни изможденно-ломкой, капризной декаденткой, от встречи с которыми каждый раз давало трещину и вновь заживало мое большое, горячее, глупое сердце.

ПАВЕЛ ВАСКАН

## ТОЧКА ТОЧКА ТИРЕ

—

это произойдет всего лишь  
когда небо перейдет через клавиатуру  
когда сакральное пройдет через видео- и материнскую платы  
и центральный процессор  
когда это твое озарится вибрациями райских лок  
и твоего компьютера одновременно  
всего лишь  
всего  
как будто бы вирус  
пси-перехват  
психотронный код  
виртуальный наркотик  
и прочая и прочая и т.д. и т.п.  
нет это не кибертрэш никакой не  
киберпанк уже был  
уже  
нет это только слияние твоего сознания  
и киберустройства  
а так же скорей всего  
Единого Информационного Поля  
Земли? Вселенной?  
да да да  
вновь и вновь  
повторять эту  
мантру действиями  
двигаться вперед желаниями  
наносить на тебя стихи поцелуями  
пойми мы идем в никуда из ниоткуда  
из всего во все  
и Бог просто играет с нами  
показывает мультики  
и когда у меня спрашивают



в чем смысл этой игры  
я теряюсь в догадках  
шепчу отвечая  
это непостижимо  
это не дано знать никому  
кроме Играющего  
нами в нас и для нас  
мы затерялись в его Лиле  
лишь для того  
чтобы случайно встретиться  
прикоснуться поцеловать  
умереть влюбиться  
и даже воскреснуть  
но все-таки  
мир игр это послание  
каждой душе  
которая может когда-нибудь  
поцеловать Бога

---

белый хакер точка точка тире амперсанд коннекшн любимая  
едет лесом хакер опять сквозь пунктир твоих фраз  
сквозь сонеты и вязь сетевых твоих трепыханий мечты  
и любви по э-мэйл по равнинам опять интернета усталым  
испешренным равнинам и опять это странное эт тисипи и айпи  
но все же ошибка не так уж и страшно как вам бы хотелось  
сетевая охрана диких юзерских грез и весенних задумчивых гроз  
о когда же ты скажешь прости по росе по утру по сети  
нас ведет то ли Бог то ли баг то ли бак  
и ты скажешь люблю и прости интернету-палитре  
инфоплесенью наших с тобою нектарных пространств  
драм трагедий улыбок аватаром иконкою образом  
как бы Deus ex Machina всё же буду с тобою архангел сети  
и неважно где кем когда каким полом ником и возрастом  
се дракон интернета компьютера зверь жадно жрет наслаждаясь  
уходящую хрупкость ресурсов времен и пространств  
и мы таем в бессмертии киберуделов угодий и графств  
выдыхая на вводе прости о прости о прости

---

затаптывать снегом мои откровенья  
и сполохи разломанного эмоциями мира,  
баюкать Рождество, словно ребенка,  
со всеми его огнями, застольями и нарядами –  
ты знаешь, всё – круговерть, суета сует  
и улыбки медитативного вслушивания  
в тишину промерзшего белого парка,  
когда губы еще хранят твой поцелуй,  
память играет его теплом и полуоттенками,  
рот еще не забыл  
дремлющую в уютной спальне  
в нескольких сотнях метров от этого  
нанесения следов в стиле «каприччио»,  
и воздух столь свеж, что ждешь  
как минимум просветления,  
и когда прищуришь глаза,  
понимаешь, как чуть слышно звучит бытие  
сквозь гул притаившегося рядом города,  
сквозь мастерство вымышленных имен,  
и фраз, опоясывающих смысл, не более,  
угасающих в твоей голове,  
когда зима начинает шептать  
и напрашивается в любовницы  
снежинками, тающими на щеках,  
глядя, как ты, наконец, уходишь.

---

## ВЛАДИМИР ЕРМОЛАЕВ

### СТИХИ

#### М а р т о б е щ а е т

с началом марта солнца становится больше  
и снег блестит там где он еще не растаял  
какое-то неясное обещание носится в воздухе  
и не то чтобы тянет на приключения  
но ждешь что мир подарит тебе Событие  
вроде тех которые он преподносил в подарок  
героям русского писателя-романтика  
к примеру выиграешь в спортивную лотерею  
или туристическая компания пришлет  
два билета на круиз по островам Тихого океана  
словом откроются такие возможности  
которые сейчас тебе явно не по карману  
а может быть произойдет что-то  
не связанное с укреплением твоего  
финансового положения  
например физики откроют бозон Хиггса  
или астрономы установят контакт  
с инопланетянами  
о многом мечтается в начале марта  
особенно если дни солнечные  
в такое время забываешь  
о финансовом кризисе и кризисе веры  
и желаешь благополучия всем  
близким и дальним  
включая представителей власти  
и оппозиционеров

#### Г н и л ы е м е т а ф о р ы

когда автобус по дороге в аэропорт  
делает петлю поднимаясь на развязку  
двойной ряд фонарей на дороге внизу  
умножается на два отражаясь  
в оконных стеклах

употребляя гнилые (по выражению  
Уоллеса Стивенса) метафоры  
скажем

рой золотистых пчел вылетает из улья  
вечера вдогонку за солнцем  
ночь надевает мундир с золотыми  
пуговицами готовясь перенять дежурство  
в небесной приемной

---

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

## ДЯДЮШКА ЯНИС

Смотритель Бирзе

Пришло лето. В этом году мы снимаем комнатку в Юрмале, в старом, в вековом, пожалуй, доме. Хозяин его проживает в Америке. За своевременной уплатой налогов и за тем, чтобы дом был в порядке, следит представительница владельца – Бирута. Она и сдает комнаты на лето. Дом двухэтажный, комнат много – в советское время здесь был небольшой пансионат для заслуженных пенсионеров.

У Бируты имеется свое хозяйство – в Скулте – за много километров отсюда, поэтому она уже сама наняла смотрителем дома в Юрмале пенсионера Яниса Бирзе, человека серьезного и ответственного, – и сразу же после нашего приезда познакомила меня с ним.

По трем ступенькам Бирута и я – следом за ней – поднялись к двери квартиры смотрителя. «Домоправительница» позвонила, а когда нам открыл старик с внимательным взглядом, перво-наперво представила меня, причем, охарактеризовала самыми лестными словами. Затем, обращая ко мне, любезная женщина сообщила:

– Господин Бирзе в мое отсутствие здесь хозяин, в случае чего – со всеми вопросами – к нему. Человек он опытный, много знающий, в этом году празднует юбилей – девяностопятилетие, – и опять повернувшись к старику, «домоправительница» спросила: – Ну, как ваше здоровье, дядюшка Янис?

– Да что об этом говорить, – смотритель грустно улыбнулся морщинками безоблачных светло-голубых глаз. – Сердце порой словно лоскуток на ветру.

– Ничего! – ободрила его крепенькая Бирута. – Это просто тип погоды не всегда благоприятный. Вам ли унывать?! Еще столько дел предстоит!..

В ответ дядюшка Янис неопределенно хмыкнул, скромно прикрыл глаза и словно невзначай сообщил:

– Сегодня по почте газету получил. Там про меня статья. И моя фотография напечатана – в молодости!

– Ой, я так давно мечтала посмотреть на вас в молодости, – воскликнула Бирута и направилась вниз по лестнице. – Но мне уже пора... Почитаем, обязательно почитаем, но в следующий раз... Опаздываю на электричку... Всего вам доброго! До встречи!

«Домоправительница» сбежала по ступеням и перед тем, как исчезнуть за углом дома, помахала нам маленькой ладошкой на пухлой ручке.

Я попросил у дядюшки Яниса газету и направился с ней на скамейку под липой. Открыл на заветной странице – а там, так и есть, портрет зрителя, молодого, в анфас и в профиль, с надписью «СД № 335, Бирзе Янис Янисович, 1905 г.».

Из статьи я узнал, что Янис Бирзе до сорокового года служил пограничником. Был начальником погранпоста вблизи реки Лудза. Ночью пятнадцатого июня ему позвонил командир роты и сообщил, чтобы тот ждал секретный пакет. Не прошло и часа, как пакет доставили, пограничник Янис вскрыл его, там оказалось письмо с приказом заминировать мост и быть готовым к нападению со стороны Советского Союза. Янис взял двоих пограничников в помощники и выполнил приказ, но к вечеру шестнадцатого июня по всем постам объявили, что президент Ульманис согласился на вхождение в Латвию Красной Армии. Начальник погранпоста Янис Бирзе, теперь уже без приказа, отправился с теми же помощниками к тому же мосту и разминировал его.

### « В р а г н а р о д а »

Вскоре вошли советские войска. Через месяц Яниса арестовали. А с началом войны с Германией – выслали в Сибирь, в Красноярск. Там он работал на спиртовом заводе. Спирта изготовлялось немыслимое количество. До сих пор в памяти дядюшки Яниса всплывают громадные лозунги: «Фронту – надо!»

После Красноярска бывшего пограничника переправили в Норильск, там-то и начались настоящие мытарства. Сколько всего лагерей он сменил за тринадцать-то лет... Разве упомнишь!..

К дому, где мы сняли комнату, прилегал просторный двор. В нем дядюшка Янис – полноправный хозяин. Там – цветы посадил, здесь – деревья постриг, подальше – грядки моркови, лука да картошки соорудил. Но самый заветный его уголок – слева от ворот, за столетней елью, там, где растут пушистые каштаны. Удивительно – листья этих деревьев, обнимая ствол, начинают расти у самой земли – вровень с цветущими здесь же ландышами. Этих цветков – целая поляна. На ней – елочки-дошколята, сосенки годовалые, другие друзья-деревья да деревьюшки. Ландышам хорошо – они любят тени. На поляне же – корни да коряги, собранные зрителем. Ходит дядюшка Янис по лесу приморскому осенью дремучею да весной сумасбродною, собирает брошенные ураганом да тихим ветерком ветки причудливые-дикиховинные, в которых

глаз его видит застывших птиц и зверей. Все они – словно из сказок. Кого только нет на ландышевой полянке! Вот застыла змея в судорожном броске, рядом – журавлиная голова прижалась к длинной шее, а тут – олень-не-олень, лось-не-лось, но «кто-то» очень рогатый взметнул свою голову. Неподалеку – динозавр оскалил беззубым ртом. А вон – среди мха да замысловатых корней – не иначе как леший пристроился. От порывов ветерка шевелятся, покачиваются многие из сказочных птиц-зверей – так как закреплены они на длинных металлических прутьях. А деревянные скульптуры, что покрупнее, установлены на специальных постаментах из пней.

Обошел я поляну несколько раз. Некоторые из «зверей», когда их видишь в другом ракурсе, меняют свой характер, а порой и весь облик. Но все равно остаются добрыми и открытыми.

Припомнились строки Самуила Маршака: «Все то, чего коснется человек, / Озарено его душой живою».

На следующее утро после знакомства с дядюшкой Янисом и его сокровищами я сидел у окна за столом над бумагами, смотритель дачи проходил под моим окном несколько раз. В первый – помахал мне приветливо рукой. Я ответил тем же.

Весь день я вычитывал страницы будущей детской книжки, а смотритель поторапливался по хозяйству: то с лопатой пройдет, то с метлой, а то от колонки два полных ведра несет, не расплескивая...

«Домоправительница» Бирута предупреждала, чтобы ничего во дворе не разбрасывали. А то дядюшка Янис, мол, все приберет: и лопату бесхозную, и ведро, и молоток... Да так приберет, что потом и не найдешь.

Каждый раз, когда взгляды – мой и дядюшки Яниса – встречались, мы улыбались друг другу. Сегодня вечером я жду смотрителя дачи к себе в гости на чай с медом.

В назначенный час в дверь постучали.

Открываю. На пороге – дядюшка Янис. На фоне темного коридора ореолом светится его белая воздушная прическа. Под мышкой мой гость держит аккуратно завязанную на бантик тесемочкой толстую коленкоровую папку.

Садимся за стол, я наливаю чай, придвигаю банку с медом, печенье.

С а м с е б е х о з я и н

Тем временем дядюшка Янис развязывает замусоленный бантик на коленкоровой папке, открывает ее и начинает выкладывать на стол

фотографии. Почти все – обрамляют фигурные зубчики, такими глянцевого изображения украшали прежде.

На многих фотографиях – горы. Выглядят они угольно-черными. На одном из снимков, сделанном с большой высоты, по склонам гор – повсюду – словно белые продолговатые планшеты уложены – где погуше, где – реже, но везде – стройными рядами.

– Да что это такое? – спрашиваю.

– Не понятно? – улыбается дядюшка Янис.

– Ну да!.. – говорю, разыскивая очки в ящике стола.

– Это бараки. Бараки лагерей. Вот из таких островов и состоял архипелаг ГУЛАГ. Это сейчас споры идут: граждане – неграждане. Дадут – не дадут гражданство. А Сталин в этом вопросе не медлил. Мне в один день присвоил сразу два звания: «Гражданин Союза Советских Социалистических Республик» и «Враг народа».

Вглядываюсь в небольшие снимки. Мои глаза, теперь вооруженные очками, различают сотни белых крыш продолговатых строений...

– Да откуда это у вас? – удивляюсь. – Что за фотокор снимал?!

– Сам я и снимал. Как только меня освободили – купил фотоаппарат... Вот гора Шмидта. Говорили, что именно здесь он погиб. А вот на этом снимке – мы всей бригадой в выходной день... Я ведь после освобождения еще несколько лет работал на заводе, который, будучи заключенным, сам строил. Меня, свободного человека, начальство уговаривало не уезжать в Латвию, специалистом я стал за годы лагерей. Зэков к тому времени почти не осталось, а работать на заводе было надо...

Дядюшка Янис улыбается. Я разглядываю небольшие фотографии, которые он сделал после тринадцати лет заключения. Крутом – камни, камни. Работают люди – среди камней. Во время отдыха в выходной – выпивка с закуской – на камнях. Сами празднующие тоже – на камешках расселись. Вот празднично одетые улыбающиеся мужчины и женщины спускаются с горы по шпалам узкоколейки, проложенной на камнях же. На этом снимке, наконец, хоть какая-то растительность: мох, кустарник...

А смотритель дачи неспешно рассказывает:

– Относительно теплое время бывает там всего месяца два – не больше. Так что любое растение – радость для глаза и для сердца. Мхом – и тем восхищаешься. А то выпадет снег по крыши, морозы – до сорока градусов... Или – еще пуще – пурга заметет. Хорошо, если белая, снежная. Ведь бывала и черная пурга. Это когда ветер камни ворочает-кидает. Камни размером в два кулака. В такой ветер не вздумай машины или автобусы ставить бортом перпендикулярно направлению ветра – вмиг сметет, перевернет, словно картонную будку. Один раз черная пурга



мела неделю. Даже завод, на котором я тогда трудился, остановился. Это действительно было чудом – ведь работал завод как часы, круглые сутки. Но я и в черную пургу пробирался на работу: что-то подремонтирую, налажу, что-то почищу. С удовольствием это делал – ведь тогда я уже был сам себе хозяин...

« К о м у э т о н у ж н о ? ! »

А вот, пожалуйста, – мой рисунок, сделал его тоже уже будучи свободным. Да нет, не с натуры. Где вы за полярным кругом найдете такие пушистые сосны да ели?.. Это я по памяти Латвию рисовал... Похоже? Конечно, такое не забывается... Я любил рисовать... Очень!.. Еще когда служил пограничником – все свободное время проводил с карандашом и блокнотом. Мечтал о поступлении в академию художеств. И в самые тяжелые дни лагерей, когда пальцы от холода и усталости сводило, хотелось хоть немного порисовать, словно на время вернуться на свободу. Что вы говорите?.. Блокнот? Какой там блокнот! И о карандаше не помышляй – в лагере такой драгоценностью не разживешься.

Цемент нам на стройку привозили в бумажных мешках. Так я пустой мешок не выбрасывал, разрывал его на куски, старательно сдувал-счищал цементную пыль – и на нем рисовал углем. Углем из печки, а то и из костра. Все население своего барака перерисовал. Целая галерея портретов получилась. Заключение позировали с удовольствием, польщенные вниманием к своей персоне. Много рисунков было... Но однажды во время шмона охранник обнаружил их. Раскидал он мои произведения на полу, настороженно уставился на рисунки и спрашивает:

– Что это такое?.. Зачем? Кому это нужно?!

– Рисую, – отвечаю я.

– Я те покажу рисование! Отдыхать после работы надо!

Собрал он все мои рисунки в кучу – и тут же, в бараке, на цементном полу, чиркнув спичкой, их поджег. Тяжело мне было смотреть на этот костерок... Так ведь оно и есть: что им не понятно – то и нам нельзя.

Но этот еще по-человечески поступил. А то, бывало, сущие изверги встречались среди охраны.

« Б у д ь б д и т е л е н ! »

Издательства начинались еще по пути на работу. Бывало, идти от барака до стройплощадки приходилось четыре-пять километров. Ох и гораздые на выдумку попадались порой конвоиры. Приказывают

к примеру: «Сми-и-ирно!левой!левой!левой!» Только ты вошел в ритм, как звучит команда: «Лежать!» Где стоишь – там и падай. А заезавался – прикладом в спину получишь, а то и сапогом по загривку. Однажды кирзачом конвойный вlepил мне в левое ухо. Им я не слышу до сих пор... Так вот, только после команды «Лежать!» «прилег» ты на оледенелый камень, как – не зевай! – выполняй новую команду: «Бежать!» Вскакиваешь – и вперед. Прислушиваешься, что надумают забавники-конвоиры дальше – то ли: «Сидеть!», то ли – опять: «Лежать!», то ли... Садисты, что тут еще скажешь.

А солдатова-новобранцев из охраны мне было жалко. Ведь везде: в караульных помещениях, на вышках, в казармах – висели агит-плакаты с призывами: «Будь бдителем!», «Помни, кого ты охраняешь!» Причем, снабжены эти надписи были рисунками-страшилками: стоит на посту караульный, а сзади с ножом в зубах к нему подкрадывается заключенный или, и того чище, за спиной – держит зэк бомбу с горящим бикфордовым шнуром. А морда у заключенного – мерзкая, отвратительная – талантливые художники рисовали эти агитки... Убедительно рисовали...

Только прибывшие на службу солдатики сжимали оружие до боли в ладонях. Со страхом на нас поглядывали. Для них ужаснее «врага народа» никого быть на могло. Но ко всему человек привыкает. Привыкали они и к нам, к заключенным. Вот, к примеру, такой случай.

Дело было летом. Не знаю для кого, да понадобилось выкопать могилу. На эту работу меня и еще одного зэка повел конвоир. Все чин по чину: у нас – лопаты, у него – пистолет наготове. Но задумался солдат о чем-то своем, размечтался... Ускорил он шаг, да и не хотя того вовсе, обогнал нас. Мы идем за ним, с лопатами на плече, едва поспеваем. Пришли на место. Могилу копали качественно – глубоко – потому и долго.

Работаем, не ленимся. А наш караульный притих за холмиком. Выполнили мы задание. Кричим:

– Готово!

А от охранника – ни слуху, ни духу. Побежал я посмотреть, что это с ним. А солдатик спит за пригорком, посапывает – умаялся, видно, на вахтах-то... Нагнулся я, тронул его за локоть и говорю:

– Го-то-во...

– Что?! – вскочил паренек.

– Могила, – отвечаю, – готова.

Тут солдатик – за пистолет!.. Но, слава Богу, быстро пришел в себя – и расхохотался.

Так что люди – везде люди. А звери – лисы-шакалы – тоже не меняются. Даже если они двуногие. И совсем не важно то, по которую сторону лагерно-барачной двери ты обитаешь.

## « На плечах преступников »

Сам не пойму за какую такую провинность, но вдруг меня стали приводить на ночлег в барак к уголовникам. А те на расправу быстрые. До сих пор не догадываюсь, чем же я насолил лагерным начальникам. Да в их логике искать логику – дело пустое...

Но меня уголовники не обижали. Так случилось, что в первом же новом для меня бараке среди его обитателей оказался очень большой криминальный авторитет. Я этого не знал, а пришел на помощь человеку. Он, вопреки лагерным правилам, имел опасную бритву. И умело прятал ее. Но однажды охрана застучала этого матерого уголовника «на месте преступления». То бишь, в момент, когда он брился.

– Пиши – пропало! – взвыл провинившийся.

Сам не пойму почему, но решил я его выручить. Говорю охраннику:

– Гражданин начальник, что вы, что вы! Это вовсе не его бритва!

– А чья?!

– Это моя. Вернее, нашел я ее сегодня. На работе нашел. И принес в барак.

– Дурак! – слышу в ответ.

От великого уголовника они отстали. Да и от меня-дурака – тоже. Только прежде чем отстать, охранники швырнули меня в угол барака, изо всей силы своей богатырской. Так что я отделался легко. А криминальному авторитету было бы не отвертеться. Ведь в его руках бритва – опасное оружие.

Как только захлопнулась за гражданами-начальниками дверь – тут же набросились уголовники на меня – и принялись качать, вверх подбрасывать. И так старательно, что я перепугался. «Ну, – думаю, – конец мой пришел: разобьют о потолок». Но ничего, обошлось.

После этого случая я стал пользоваться в криминальном мире бо-о-ольшим авторитетом. А меня долго еще к уголовникам подсаляли. Но даже в другие лагеря, не знаю каким путем, весть обо мне приходила раньше меня самого – и вновь я был под охраной и при уважении со стороны криминалов советских лагерей. А они, эти уголовники, очень ценили себя. Любили приговаривать: «Советский Союз держится на плечах преступников»...

Я ведь тоже в понимании государства был преступником. А сколько кирпичей в здание социализма мной положено! Абсолютно бесплатно. Если бы мне за тринадцать лет рабского труда хотя бы десятую часть от заработанного мной заплатили, я бы и от пенсии отказался, и другим людям помог.

А труд был у нас не просто рабским, порою адским. Помню, как строили мы две трубы для медеплавильного завода в Норильске. В мире таких труб немного. Каждая должна была разрастись до пятидесяти метров в диаметре у основания, а в высоту вытянуться – до ста пятидесяти. Фундамент для одной из этих труб мы заливали бетоном среди зимы.

Так, при озверевшем морозе в бетонной жиже копошимся. А начальники прикрикивают:

– Давай! Давай!

Я до того «додавался», что не оставалось больше сил моих выносить эти нечеловеческие мучения. Руки и ноги – словно неживые, чую, как кровь в жилах замерзает. «Все равно, – думаю, – отсюда уже живым не выйти. Надо прекращать этот «ударный труд». Вот подойдет сейчас очередной груженный самосвал, я и кинусь под поднимающийся кузов. Накроет меня гуща серого равнодушного раствора – в один миг придет конец мучениям. И похороны не нужны: навсегда «приласкает» меня ненавистная жижа».

Задумано – сделано: бросился я под задние колеса развернувшегося самосвала... Да техника подвела: в самый неподходящий момент заело механизм подъема кузова. Накинулись на меня охранники, так отмузузили, что мне жарко стало. И сознание я потерял... Но выжил, через день был опять в строю.

## На дедушку Ленина с обожанием

Еды нам всегда было мало. Сосало в желудке, подвывало постоянно. До самого пятьдесят третьего года, когда помер «вождь народов». Думаю, что ни одному правителю в истории человечества не удалось своей смертью принести радость столь многим людям.

Умер Сталин в марте, а уже в июне пошли перемены: в лагере появился ларек! С маленьким окошечком, в котором можно было купить в день четыреста граммов хлеба. И деньги на такие праздничные (без иронии!) покупки стали выдавать – первые заработки. Дальше – больше: хлеба – покупай сколько хочешь! Но на этом чудеса не закончились: через несколько недель в ларьке стали продавать каждому немножко масла. И сахара! Я физически стал ощущать перемены в себе: сил прибавилось, казалось что даже жирок начал завязываться. А как довольно после еды урчал мой желудок!

Смотрели мы друг на друга – и глазам своим не верили: у солдагерников стали появляться щеки!

Как я хочу положить цветы на могилу Никите Хрущеву! Ведь сколько людей благодаря ему избавилось от нечеловеческой жизни...

Меня в середине пятидесятых реабилитировали – как говорил уже, стал я работать в Заполярье как свободный человек. Но, конечно же, тянуло в Латвию, куда и вернулся я в 1959-м, после восемнадцати лет разлуки.

Там, на севере, как только освободили, дали мне комнату в бывшем лагерном, а теперь ставшем рабочим, бараке. Причем комнату, в которой прежде располагалась охрана, с отдельным выходом на улицу. Со мной жили еще два человека: молодой парень Валера (тот быстро, месяца через полтора, нашел себе молодую женушку и ушел к ней) и Константин, бывший «придурок лагерный». «Придурок» – здесь совсем не то, что на свободе. В лагере придурками называли тех, кто занимался не тяжелым трудом, а исполнял работу писаря, санитара – придуривался, одним словом.

Так мой сосед, бывший «придурок», был художником Луковым из Москвы. Осудили его за издевательство над образом великого Ленина. Константин в молодости окончил художественный институт и был очень хорошим художником, таким, что даже имел разрешение на изображение вождей партии. Неплохо зарабатывал. Но однажды он, иллюстрируя рассказ для журнала, нарисовал Ленина на детском празднике, нежно держащим на руках девочку лет четырех. Нет, с Лениным получилось все хорошо: добрый, с человеческой улыбкой. А вот изображенные на картинке дети... Во-первых, у девочки, которую Ленин приласкал, на лице не было искренней радости, а в глазах детей, смотревших на девчужку и Владимира Ильича, отражалась не любовь к великому вождю, а то ли зависть к девочке, то ли осуждение неизвестно кого. Кто-то, бдительный, все это разглядел – и доложил куда следовало. Короче, получил незадачливый художник пятнадцать лет лагерей. А как иначе? Все дети должны были смотреть на дедушку Ленина только с обожанием.

Т о п о р – н а г о т о в е !

Однажды выдали нам получку, сидим в своей комнате, выпиваем. В гости зашли двое старых знакомых из соседнего барака. Вдруг открывается дверь, входит милиционер и прямо с порога спрашивает:

– Кто здесь главный?

Ребята на меня показывают:

– Он!

Действительно, они давно постановили: «Ты, Янис, будешь за главного».

Милиционер обратился ко мне:

– Топор есть?

У меня внутри все аж похолодело. Вспомнились лагерные порядки. Ой, что было бы, найди охрана в те времена у меня топор! «Но теперь-то, – думаю, – я человек вольный. Почему и топора дома не иметь?» Так что пришел я в себя и отвечаю спокойно:

– Есть топор.

А милиционер говорит дружелюбно:

– Держи его наготове. Уголовники лютуют. Если что – руби головы – не задумываясь. Мы тебе за это только спасибо скажем. На одного мужичка из соседнего поселка сразу восемь гадов напало. И хотя у него топор был, и сам – не слабого, не робкого десятка, не отбился бедняга... Двоих он зарубил, но оставшиеся его одолели... Будьте внимательными, ребята, не открывайте дверь кому попало – держите на запоре. Много сбежавших из лагерей и амнистированных бандитов сейчас вокруг скитается.

Ушел милиционер, мы продолжили ужин...

А через несколько дней среди ночи нас с Константином разбудил стук в окно. Вскочили с кровати – и к нему, приглядываясь спросонья... Глазам своим не верим: стоит женщина, голая совершенно. Не старая еще, в теле. И – вся в слезах – голосит:

– Ограбили меня бандиты. Пустите, люди добрые, околею ведь! Сжальтесь...

Костя кинулся к дверям, открывать. А меня, как кто вразумил: не медли, мол, – бери топор!

Открывает художник дверь, а я неподалеку стою с топором наизготовку.

Дверь распахивается – и в комнату влетает женщина, кто-то ее сзади толкнул! А за ней – этот «кто-то», а за ним... Аж в глазах моих темно стало – от множества атакующих бандитов. Тут, скажу я вам, не до размышлений было. Размахнулся я – и первого гада – обухом по голове – изо всей силы огрел. Он упал под ноги своих приятелей, а те – о него спотыкаются, падают, я и их своим безотказным топором «приголубливаю». А сам кричу художнику Лукову:

– Держи бабу! Как бы не помешала мне!..

Бандиты, напиравшие сзади, разобрались что к чему, отскочили от дверей, я, где руками, где ногами, повытолкал упавших у порога грабителей на улицу и закрыл дверь на засов. Чуть не прикончили нас бандюги, словно малых щенят.

Повернулся я к женщине-«живцу». Костя Луков стоит со вторым топором в руках рядом с «плакуньей». Охраняет. Она уже не совсем голая: добрый художник накинул ей на плечи старый ватник. А женщина,

маленькая такая, уместилась в нем, словно в просторной шубе. И вдруг – бух предо мной на колени, запричитала:

– Не убивай!.. Прости!.. Господом Богом молю!.. Шла после работы, они и поймали меня. А к вам стучаться под страхом смерти заставили. Говорят: «Плачь жалобнее, не откроют дверь – прикончим тебя здесь же!» Простите меня, люди добрые...

Что поделаешь? Простили мы ее. А наутро сдали участковому милиционеру. Пусть разбирается.

Трупов у барака мы не обнаружили. Кровавых следов на земле грабители оставили много, но ушли все. Не знаю о судьбе этих бандитов ничего. Поймали их, не поймали...

Инопланетяне боятся нас

Эх, сколько я встречал в своей жизни людей с нечистой совестью! И среди солагерников, и среди охраны, и среди сограждан. В результате – пришел к выводу: раньше наша Земля была необитаемой. Долго была. Но однажды собрали инопланетяне со всей нашей вселенной самых злых, самых лукавых, самых жестоких своих сограждан – и отправили сюда, на эту планету. Стала Земля с той поры обиталищем грешников. Иногда летают над нею инопланетные летательные аппараты – любопытно жителям космоса, что же у нас здесь происходит. Не перегрызли ли, не переглотали ли мы друг друга... И не идут инопланетяне с землянами на контакт – боятся нашего хищного нрава. Хотя, за долгие годы кое-что переменялось: уже многие земляне, глядя на мерзавцев, что рядом живут, из поколения в поколение, не хотят быть подобными им, и становятся человечнее. Пусть и в разной степени.

Почему я так долго живу, знаете? Все хочу увидеть, что жизнь пошла к лучшему. Пока ничего не получается, у жизни-то...

И похоже, что совсем глупым я стал. Слушаю, к примеру по радио выступления депутатов нашего Сейма. Иной – час целый говорит, пытается остальных убедить в правоте своей идеи. Стараюсь понять о чем это он, но не обнаруживаю в речи депутата и намека на мысль. Эх, совсем глупым я стал...

Ну, мне пора, заговорился с вами! Кормушки для птиц, наверное, уже все опустели. А я чаевничаю... Да и вам, наверное, своими воспоминаниями поднадоел!

– Что вы, дядюшка Янис! – восклицаю искренне. – С вами очень интересно.

– Да разве можно найти интересное в речах тако-о-ого старика?! Я ведь еще мамонта видел, – говорит дядюшка Янис и довольно улыбается.

– Как это?.. – говорю оторопело.

– Очень просто. В породе его нашли. На глубине трех метров, в вечной мерзлоте. Слышу, как один из эков кричит: «Смотрите, там на глубине какие-то растения!» Мы все подбежали, присмотрелись – видим: что-то, похожее на шерсть зверя... Раскопали его, древнего, – а это мамонт! Ох и громадный! Вот, бивни, к примеру, у основания – потолок верхней части моей... нет, вашей, ноги. А у окончания – с мою руку. И длиной каждый – в два метра... В другой раз в срезе угля лист растения невиданного проявился. Размером – с этот письменный стол...

Дядюшка Янис посмотрел в окно. В дальней от нас части двора, за столом одна стайка дачных детей играла в какую-то настольную игру, а неподалеку другая – киями гоняла крутляши новуса. Смотритель вздохнул:

– Вот, полюбуйте на них. Такими играми можно заниматься дома, в плохую погоду, когда идет дождь. А в остальное время детям надо двигаться! Пойду, растормошу их. Отнесу мяч – пусть погоняют в футбол, а может быть, удастся раззадорить ребятню – и поиграют они в казаков-разбойников.

При этих словах дядюшка Янис поднялся.

– Да и сам я засиделся, – произнес он и заспешил к детям. – Спасибо за гостеприимство! До свидания!

Встречался я с моим новым знакомым каждый день – и вскоре подружился с ним. Так же, как и дети нашей дачи. Дядюшка Янис в знак дружбы подарил мне фотографию времен своей молодости с надписью: «Пусть на земле будет справедливость. Янис Бирзе».



---

МАЙРА АСАРЕ

## СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА

Из цикла «Школяр»

МЛАДШЕМУ БРАТУ

1

обманчив вечерний покой обманчив  
остатки неба тремя узлами увяжет в платок  
первый узел за гнев  
второй за то, что не сдюжил  
третий за то, что одинок  
кто твои вехи сочтет  
кто твое горькое выпьет –  
города мутноватый квасок  
не обрадует не освежит никак  
лисонька-лиса неси меня за леса  
пульс со смещенным центром веса  
для улицы великовата птица – сейчас  
за угол прыг-скок заячий шанс  
уйти неузнанной  
    прийти жданной  
у какой кикиморы сцежен  
этот жидкий и кислый квасок  
    ноябрьских улиц сусло  
кумушка-лиса – не судьба  
в кармане остатки неба  
а гнев да отчаяние  
сгодятся в начале

2

Где взять уверенности, чтоб расписаться  
в том, что выхода нету?  
Дай, Господи, в гору взойти.  
Дай, Господи, гору эту.

—

Как ни суди но  
сидя за кухонным  
столом и ведя  
беседу с Ангелом  
разбудившим посреди  
ночи чтобы раз и  
навсегда выяснить что  
это так гнетут нас  
неответченные куда это  
так спешить времени  
и – откуда это так  
много пыли  
Ведя по ночам  
кухонные беседы об  
этом с Ангелом можно  
обрести толику  
смирения

—

Во стонет во стенает  
        во бушует ветер  
гнет маковки дугой  
и одиноков любой  
        кто против ветра  
лишь тьму одну  
        не сдвинуть ветру  
рвет изнутри  
        терзает ветер тьму  
нет доступа ему туда где тьма  
кто этой ночью больше  
кто ночью обнаженной  
        тьма или ветер  
кто нежнее этой ночью  
        тьма или я

## Страстная Пятница

-

Как вьюжно перед Пасхой, как снежно, стыло,  
снег стихнул, в темноте трава остыла.  
– Ты болен, – молвит лбу рука, – и ты простыл.  
Путь к дому тяжек, и, о Боже, так уныл.  
Малы росточки-точки, поле закоченело – ты один,  
тебе постыло?  
А тот, кто обращается к Тебе на ты, о, Господи,  
ему постыло?  
Рта не раскрыть, пока один, пока ты о –  
гляди, застыло.

–

Пожалуй, можно и воскликнуть  
– Vive l'Empereur! – да только  
не с кем чокнуться.  
Напялить в тон асфальту нечто,  
нацепить брусчатку, пусть не видят, не узнают.

Что говорит коллеге штопальщик сетей,  
какие важные слова уместны,  
пристали от ячейки до ячейки?

Слышать что-то лишнее.  
Видеть что-то более.  
Полушка голода  
на языке остыла.  
Твоя да будет воля,  
Твоя – моей постыло – да.

—

Как бы в отчаянии встал горизонт в молчании  
как будто в чайнии утес напрягся  
ни чужака ни должника  
нечаянных кого бы черт принес

чтобы уведомить  
что связь не прерывалась  
что дом не выстужен и гость не за порогом  
не трогай ничего не трогай  
всегда найдется кто-то  
проще кто-то беднее  
трогай ничего пора  
стол накрой сестра  
еще скуднее

### Т у м а н

Только что был февраль, глядь – на дворе апрель,  
в город входит туман, входит, тормозит,  
приглядывается бесстрастно, как тает все, к чему  
ни прикоснется, тает и течет, исчезает  
и возвращается в белую беспредельность.  
В первый день мы работали,  
время от времени глаза поднимая к окнам,  
а там был туман,  
во второй день мы продолжали работать  
и говорили один другому, мол,  
туман – в нем нет ничего особенного.  
Пока в тумане не растаяло время,  
колокола и судовые сирены  
по привычке имитировали его ход,  
и у нас было, на что положиться.  
На третий день мы вышли проверить,  
как много осталось от города вне влажной  
туманной пасти.  
На следующий день за завтраком  
ты сказала: – Даже в такой туман здесь  
нет необходимости думать о смерти.  
Туман постоял за окном,  
возможно, глядя на нас.  
И рассеялся.

Домики – гномики. Медленная боль

## I

Ходи себе по праздникам в костел или нет – и так и так свяшенно шествие среди грядок, жреческой мощной листвы и всего такого, растущего благодаря воле Божьей и порядочному навозу, а грош цена всему, что не цветет и не плодоносит, само собой мы все однажды помрем, но давеча урожай смороды на диво, чего ж они бьются, те буйные, с этой ли стороны ворот или с той застряло оно, что покамест не прощено, и жабою жизнь крадется к колодцу, газеты читает, о честности судит, но пашет-то от души – пашет-то, чтоб выросло, бороною можно оборонить вселенную, что всклизь из рук всклянй, и разровнять время, словно грядку перед посевом редиса, но охалка дров, нужная в комнате, что ни год, тяжелее, сколько еще – столько, сколько еще в шеренге неподдающихся домики-гномики

## II

Осень, капуста в бочке и ягоды в банках чтоденный пропойца то дома а то у соседей ноне хвала Господу мир в журналах картинки далекие и прекрасные земли сосуды и связки суставы скрючились и болят у любого королевства есть выход и вход и персональный обет молчания жито ведь по закону и стол ведь по чести накрыт и двор ведь убран давай разогнись концов не видать это просто зима там

## III

Петерис трижды предал петуха слышав камнем стал, красной кирпичиной, гласом на хорах стал

и шишем в верхах, но петух на утро заново спел  
и по-новому женщина посмотрела, башку петуху  
снесла и в котел, она-то грешила, но вот  
предать не успела, Боже, да разве ж  
это не дело

*Перевел с латышского Сергей Морейно*

---

## ВЛАДИМИР ОРЕХОВСКИЙ

### СТРОЙ ОБРЕЧЕННЫХ

#### Э н д ш п и л ь

Король грустит на шатком троне  
и из разбитого окна  
глядит, как заспанные кони  
жуют унылого слона.

Ладья увязла в мертвом штиле,  
а пешки топчутся в грязи.  
Ряды пехотные застыли  
и не хотят идти в ферзи.

Туда – обратно. Вправо – влево.  
Скрипит иссохшая доска.  
И тихо стонет королева  
в объятьях пленного стрелка.

#### У д а ч а

Она нетерпеливою рукою  
нажала кнопку старого звонка  
и, устремившись к своему герою,  
себе сломала оба каблука.

Он слова не сказал смущенной музе,  
лишь грустно посмотрел в глаза мельком...  
Она же, помня о своем конфузе,  
с тех пор к нему приходит босиком.

#### С о в е с т ь

Не пожелай себе чужой жены.  
Не пожелай чужого кошелька.  
Не так ужасны сети сатаны,  
как совести железная рука.

Однако черт и совесть не страшны,  
когда плюешь на них с высокой крыши.  
Там заповеди просто не нужны:  
безгрешен тот, кто заповеди пишет.

В е т е р

*Анне Волькович*

Могучий воин, ласковый проныра,  
беспечный озорник и хулиган,  
преград не зная, он летит по миру  
и будоражит сонный океан.

Пусть он ломает мачты, гладит листья,  
шумит в ушах, шуршит в густой траве...  
и избавляет нас от мрачных мыслей,  
перетряхнув опилки в голове.

К о н т р а с т ы

Объятья влажной, сонной пелены.  
Шальные блики солнечного света.  
Прикосновенье радужной волны.  
Любовь и вздохи ласкового лета.

Сдавившая дыхание петля.  
Ожоги и гноящиеся раны.  
Изрытая воронками Земля.  
Кровоточащий скрип меридианов.

Веселый бал страстей в глухой тиши.  
Сплетенье тел в бесовском исступленье.  
Пришествие еще одной души.  
Крик боли и священный миг рожденья.

Тяжелый, сладковатый жирный дым.  
Строй обреченных в очереди к яме.  
Надгробий бесконечные ряды.  
Оторванные пальцы под ногами.



Терпенье ради призрачных побед.  
Восторги у дрожащей колыбели.  
Чудесный лепет и наивный бред.  
Чеканный шаг к большой и светлой цели.

Потухший взгляд любимого кота.  
Прощанье и поникшие седины.  
Долги и неоплатные счета.  
Воздушных замков мертвые руины.

Зов тайны на пергаментном листе.  
Вязь вещей строк на выцветшей странице.  
Безумный танец кисти на холсте.  
Взрыв мысли в опостылевшей темнице.

Растерзанные клочьями тела.  
Мук истины кровавая премьера.  
Костер из книг и теплая зола.  
Предательство во имя высшей веры...

Мы любим мир, в котором мы живем,  
и удобряем Землю понемногу –  
сперва сажая розы, а потом  
пригладив их асфальтовой дорогой.

## МИЛЕНА МАКАРОВА

## СТИХИ

## Х а р а к и р и

Жизнь уходит на дно. Скользит, словно рыба «фугу».  
Накапливает яд. Обрывает линию на ладони.  
Говорит что-то вроде – «Последний звонок другу...»  
Вытирает пыль на Хризантемовом троне.

По часовой... Только во что мы играем ?  
Смерть и любовь были, останется праздник плоти.  
По часовой стрелке вращается меч самурая.  
Или, конечно же, против. Конечно же, против...

—

Как фильм с Джоди Фостер.  
Где маятник гипнотизера –  
Часы на цепочке –  
Качается в такт  
С наступающей смертью...  
Так время раскачивается секундами,  
Поблескивает смертоносными мгновениями.  
И простодушно дает прочитать гравировку –  
«Парамаунт» или «Коламбияс пикчерз»...

—

Здравствуй, и ты – моя нежная готика,  
В кружеве черном, спи, моя радость.  
Крылья бумажного самолетика  
Испещрены словом «танатос».

То в антрацит, то в жемчужную серость  
Бархатно красить тонкие брови.  
В слово «танатос» вплетенное «эрос»  
Вспыхнет горячими каплями крови.

Что здесь поделать? Фарфоровой плоти  
Хочется вновь загорелого тела.  
Разве не страшно тебе, самолетик  
В бездну лететь так отчаянно-смело?..

---

Споткнуться о тень, поцеловать привиденье,  
Фантом приглубить, о призрак щекой потереться.  
Но ангел-хранитель, похоже, теряет терпенье,  
Когда же закончится это бесстрашное детство ?

Очаг нарисованный станет холстом раскаленным.  
Сиреновой ведьмой родная до боли Мальвина.  
А роза ветров расцветает в пространстве слоеном,  
Где кто-то опять обретает свою половину.

## ИНАРА ОЗЕРСКАЯ

## ХИМЕРЫ

*Майе Эйнфелде*

Полдень, суббота, латунная солнечная пыльца на столиках уличного кафе, сиреневые тени зонтиков. Задержанная осень, парное молоко. Середина сентября, а лето длится и длится. Все размыто, неясно, неявно как на картинах забытых мастеров. Образы призрачной мошкаррой роятся на оси взгляда, куда бы ни перевел глаза. Думаешь себе что-то...

Как двое в кафе думают, не замечая друг друга.

Старый лысоватый мужчина и Уна – блондинка с высоким хвостом вихреватых волос – сидят за соседними столиками. Но не глядят друг на друга.

Как всегда.

Они и вчера здесь сидели. И позавчера. За разными столиками, вполоборота друг к другу. И каждый из них – нечеток, словно смотришь на них издалека или в непогоду.

Химеры, как есть химеры! Свет брызнет из облаков – фигуры высветятся, облако нахмурится – они и погаснут.

Полноватый голубоглазый старик... размыт, рассеян. Подрагивает, сутулится над стаканом. Так и решишь: озноб его среди ясного дня одолел. Стакан перед ним на столе, но старик не прикасается к стакану. Апельсиновый сок сегодня как-то не пьется.

Мужчина взглядом то вбок мазнет, то вдаль и вверх посмотрит. На небо...

Лето из календарной сетки рыбкой вывернулось, выскользнуло, угрелось здесь, – воображает старик, – но заплутавший июль уже начал грезить об осенних туманах, и откуда-то из-под земли поднимается зябкая мгла. Невидимая пока, лениво щекочет подошвы.

А женщина вспоминает, как утром долго не вставала с постели. Медленно поднималась на поверхность: мыслей, яви, слов – от подводных течений, песчаных отмелей сна. Который непременно вспомнит... Вспомнит сейчас! Хотя бы потому, что именно этот полдень и снился ей три часа назад. Снился последним – в чередe ночных волшебных сказок.

Теперь она здесь, не в постели. Но дрема сгустилась в мерцающем теплом асфальте. Расслабляет. И не собрать себя толком. И не хочется. И не надо.

Так легко думать о том, о чем не помнишь обычно: ты вдыхаешь все тот же воздух, что кажется прозрачным, как тонкий голубоватый фарфор у горизонта, тяжелеет лазурью в зените и слоится перелетными облаками вдаль, – размышляет старик. – Небо начинается не над тобой, а здесь. Ты сидишь, стоишь или бродишь по дну неба. Ты дышишь им! Каждый день. А сегодня – в полдень, в субботу – ты всего лишь об этом вспомнил.

Но каждый остается собой. Всего лишь собой, никем больше. Вот, например, блондинка...

Чувствует себя здесь и сейчас – бездельницей, ровно настолько глупой, что могла бы сказать: «Ты мне нравишься. Очень».

Могла бы, – подумала Уна, тряхнула легкими волосами, глянула куда-то вниз и вбок. – Могла бы, но не скажу. Он и так меня понимает. Всегда. И говорить нам не надо.

А лучше бы и сказала! – досадует голубоглазый старик. То прикасается к стакану, то отнимает руку. – Хотя... я и без того тебя слышу. Даже если молчишь, если язык твоих размышлений тише шороха крови. И ты... Ты тоже слышишь меня? Так скажи мне хоть что-нибудь!

Я в кафе не с любимым человеком, я в кафе со своим псом, – женщина быстро провела рукой по лицу, словно смахивала залетную осеннюю паутину. Встала. – Размяться нужно!

Лохматый черный пес ростом с овчарку посмотрел на нее удивленно и робко – снизу вверх, как на небо.

Я не пугаю тебя, малыш. Сбегать не собираюсь. Я сейчас вернусь, только кофе еще закажу, – думала хозяйка, глядя в миндалевидные карие глаза любимца. – Ты испугался?.. Посиди, подожди меня. Я быстро к стойке схожу, милый!

Как подумала, так и сделала. Взяла кошелек из сумки и поцокала тонкими каблучками во внутреннее кафе. И вправду... быстро! Сизое узкое платье мелькнуло предгрозовой тревогой в проеме.

Пес и не двинулся с места. Так и остался у столика, прянул ушами, покачал головой, но взгляда от дверей не отвел.

Умница ты у меня, – улыбнулась хозяйка, отсчитывая мелочь в полутыме у стойки.

Его ты и спиной чуешь, и за стеной понимаешь. Меня так нет! – Старик даже не глянул вслед женщине. Неторопливо приложился к стакану. – Я не помешаю тебе, ты же знаешь. Но псу ты доверять умеешь, а человеку?.. Нет. А отчего?

Да, странно.

Ведь старый мужчина и женщина оба, не стовариваясь, уже с месяц облюбовали это кафе. Дешевое и скверное, надо признать. Не зонтики, а россыпь бледных поганок под запоздалым летним солнцем.

Украина города, нищета, запустение...

Неподалеку городская психиатрическая клиника. И народ в районе – как на подбор, ходячие иллюстрации к медицинским учебникам. Все в этом мире централизовано, сгруппировано, упорядоченно. Ближе к центру города – публика добротная, стерильная, несомненно нормальная. А объедки общества расплзаются в полную гнилую слякоть вдали от парадных улиц.

Уна медленно вышла наружу. Словно надеется удержать и прохладу, и сумрак, притихшие за спиной. Глаза потупила, голову чуть отводит от настойчивого сентябрьского света.

Все ей не так! – обижается старик. – И погода-то – лучше некуда, и поговорить – не лишнее. А ей интересней странное, да чепуховое. То телепатию животных ей подавай, то психологию протоплазмы, то болезни... дурные!

Вчера у реки я видела человека, идущего к берегу через пустырь. Долго и вдумчиво идущего, – непонятно к чему вспоминала Уна, под отвесными золотыми лучами продвигалась к столику. – Затрапезный человечек двигался, как в учебниках расписывают: три шага – остановка, два шага – пауза, быстро прошел метров десять – и замер. Зигзаг, еще зигзаг. Потом споткнулся обо что-то, но не упал, удержался на ногах. Нагнулся – серьезно и сосредоточенно, словно исполнял немислимой сложности балетное па, и... поднял моток цветной проволоки!

Мальчишки, наверное, играли в свои непонятные игры и обронили.

Человек пошел себе дальше, не выпуская находку из рук. Поднял, но вряд ли понял, что поднял. А уж зачем?.. Об этом и ясновидцу, найдись таковой, не догадаться.

Не знаю, есть ли ангелы в небе и черти в исподе мира, – Уна усмехнулась, – но и нижним и верхним не достало бы сметки прикинуть, на что старику моток зандобился.

Мм-да. Нейролептики штука сильная, как ни крути.

А зачем ему моток-то?.. – некстати подумал голубоглазый старик. И удивленно поднял брови, глядя в зыбкую пустоту.

Вот уж увольте! – блондинка поморщилась. – Единственное, что знаю наверняка: живет он в пятиэтажке неподалеку. Все мы человечность, как положено, соблюдаем. Потому его из больницы на прогулку и выпустили. Думается мне, месяца через два после начала очередного

курса химической мозгодробилки. Он и пижамы не снял, только тапочки на кеды сменил, чтоб до любимой реченьки доплестись.

Здесь, в хрущевках у Саркандаугавы, таких, как он, – человек десять. У всех и диагнозы на лбу написаны, и побочные действия препаратов доплясывают свое в тряских руках и жеребьячьей походке.

Отбросы.

Шизофреники разной тяжести и продолжительности заболевания.

«Необратимый процесс», как любил напоминать профессор, у которого мне на свою беду довелось лекции послушать. – Бездельница чуть поежилась от воспоминаний. И тепловатый кофе ей, как видно, не поможет. Не тот озноб у нее, чтоб горяченьким да сладеньким его лечить. – Студентам хорошо бы усвоить раз и навсегда: шизофрения – заболевание неизлечимое, бедные люди, конечно, но человек – если ему поставлен такой диагноз – конченный человек.

Надежды никакой, – вздохнул старик.

Потому родственников ни тяжесть последствий медикаментозного лечения пугать не должна, ни электрошок, если пациент докатился до подобных мер пресечения... безумия. Конечно, безумия! Индивидуального безумия, заметьте.

Занятно, об опасности общепринятых мифов тот профессор не рассуждал. Может, и он чего-то не знал?.. Бывает, – голубоглазый старик отхлебнул из стакана, и даже заметил, наверно, что руки у него сегодня слишком сильно дрожат. Не справиться с телом, не удержать себя...

И не надо.

А шизофреники больничной выделки – тема удобная и вполне обкатанная в приличном обществе. Интеллектуальные способности при данном заболевании утрачиваются неизбежно.

Вот о последнем профессор университетской выделки поминал, наверно, с отдельным тихим удовольствием. Ему самому за шестьдесят стукнуло, в его годы риск заболеть сводится практически к нулю. Если дотянул до пятидесяти пяти, то у тебя всего один процент вероятности оказаться посчитанным шизофреником. А дальше...

Разрешается жить без зазрения совести хоть до ста лет!

И рассуждать о болезни. Теперь наверняка – чужой болезни.

Как важна, оказывается, уверенность в негибкости собственной психики, – покачала головой Уна. – Не хуже индальгенции времен расцвета испанской инквизиции. Конечно, речь идет о самой дорогой индальгенции – в тридцать золотых! Покупали ее люди весомые и серьезные.

Билет на небо.  
Пропуск в рай.

Но я не хочу ни ада, ни рая! Мне не туда суждено... Ты только признай: небо над нами – одно на двоих. Даже если я глотаю холодную ночную воду, а ты маешься от жары. Небо едино, разнятся лишь обороты Земли, да страны – классики, начертанные на карте, как на грязном асфальте. Впору прыгать! Ну почему ты молчишь?.. – голубоглазый старик загрустил.

Сегодня все как-то не так.

Возможно, Уна что-то и понимает. А может, и нет. Не до того ей сегодня. Да и всегда ей – не до фантазий!

Никто и не против, – подумал упрямый старик, хмыкнул и подтянул манжеты искренне белой рубашки. – Пока не против...

Итак, хвостатая симпатичная блондинка и длинношерстный элегантный пес заказали чашку кофе и стакан воды. Как вчера. Как позавчера. И два пирожка с мясом. Заплатила, разумеется, она.

Вечно мне приходится за двоих отдуваться, – цокнула языком Уна. – Нечего было с таким связываться. Меня предупреждали. Проблем, мол, с ним невпроворот, лупает глазами, куда не нужно, на помойках его видят, сбегает порой...

Но ей с ним хорошо.

Мне всегда хорошо с тобой, милый, – подумала и погладила пса по крутолобой черной голове. – Ты-то не призрак и не химера. Я могу смотреть на тебя, я могу к тебе прикоснуться... Когда устаешь, и не по себе, и бессонница. Когда думать больно, а до рассвета еще плыть и плыть по холодной ночной воде.

Сам пес все больше молчит. Зато не мешает. Не то, что прочие. А прочие как раз объявились, – губы старика чуть дрогнули.

То ли усмехнуться решил, то ли сказать что-то надеялся. Но не произнес ни звука. И хорошо...

Мимо летнего кафе медленно прошествовала районная достопримечательность, несомненный красавчик в ковбойских туфлях.

Покачиваясь прошел.

Везет же некоторым!

Уна, скорей всего, еще последние сны досматривала, когда ковбоек сегодня начал заспиртовываться. А теперь он затормозил, развернулся, снова потопал под выцветшие зонтики. Осмотрелся и явно прицелился сесть за столик блондинки.



Но кому-то незнакомец не слишком понравился...

Пес головой тряхнул, встал и продвинул гибкое, сильное тело между хозяйкой и чужаком. Помедлил, поразмыслил, еще раз тряхнул головой и воззрился на пришельца, как собаки не смотрят – презрительно и серьезно. Не зарычал, не оскалился – ни к чему, недостойно.

Зато местный красавчик и сквозь хмель почувал, что...

А ну их к черту – и затрапезное кафе, и кралю с ее кобелем! – мелькнуло у молодца. – Пошел я себе, пока чего не вышло...

И пошел.

Недоброе парень почувал. Совсем недоброе. Словно кто-то его по затылку треснул. Не сильно, нет. Но вроде как свысока.

Ковбоец глянул на небо. На всякий случай. И добавлять виски сегодня зарекся.

Стоило ему отойти подальше, у столика объявилась голодная шавка.

Принюхивается, виляет хвостом. Пока не прогнали. А прогнать придется, – Уна опустила глаза.

Все не так. Не совсем так. Почему ты всегда ждешь худшего?! – про себя негодует старик. – Мне, со стороны, виднее...

К столику подошла отнюдь не шавка, а вполне сносных кровей псина. Кобель, кстати говоря. Сейчас он ничей: тусклая шерсть, проплешины стриженного лишая на боках. Тощий, похож на помесь овчарки с борзой. Недели через две его подберут. И назовут Лордом. И – вылечат. Шерсть отрастет, тело отяжелеет, появится вполне законный ошейник с бляшками об уплаченном налоге и сделанных прививках. Тогда обожаемому хвостатому красавцу с ним играть станет не зазорно, а вполне позволительно.

К тому же, он и сам полукровка. Смесь ньюфаундленда и колли, если пять лет назад новоиспеченную хозяйку на рынке не обманули.

Голубоглазый старик повернул голову, задумчиво посмотрел на женщину, чуть улыбнулся. Но снова ничего не сказал, даже не подумал...

Не смог, наверное.

А бездельнице неожиданно взвыть захотелось! Правда, не от жалости к бездомному псу...

Ей вспомнилось: недавно сама ни слова не сумела сказать. После концерта. В церкви.

Ничего не смогла сказать человеку, сидящему рядом с ней.

Хотя должна бы... Но тогда показалось: словам здесь не место.

И места им не нашлось.

Литургия в соборе тасовала воздух как колоду карт: выгнула, пролистнула, подбросила, расстелила над церковной скамьей. Подбросила снова! Картинки замелькали – неясные, неявные, как шепот на рассвете, когда боишься разбудить чужих, а своих нужно поднять с постели.

И различила ты дверные проемы – замысловатые, манящие. И вошла... – опять принялся фантазировать старик.

Уна нахмурилась.

Двери выстраивались друг за другом, ты проходила по анфиладам, где на стенах картины. Ты что-то узнала, почти поняла, но... проскользнула мимо! Слишком быстро все в этом мире, – размеренно воображал себе старик. – Я-то знаю – даже оглянуться нельзя: а вдруг не картины на стенах, а зеркала? И ты ли в них отразился или то, что любил, потерял, хотел вернуть? Хотя бы уцепиться взглядом за воспоминание!

Похоже, вечерний сквозняк в соборе слишком силен тогда оказался, и Уну несло себе дальше.

Стая птиц взлетает, но медлит, и сердце болит...

Центральный неф церкви исчез, стена схлынула, распятие распорилось в сумраке – кусочек сахара в темном горячем чае. А сам ты – пропал.

Даже дышать страшно, – вспомнила Уна. – Страшно вспугнуть!

Что вспугнуть?.. – недоумевал старик.

Все, что до меня, наконец, дотянулось, – блондинка закрыла глаза.

Такое с тобой и раньше случалось?.. Случалось! – неожиданно понял старик.

Голубоглазый бездельник в искренне белой рубашке на сей раз не смог усидеть на месте. Встал, передвинул стакан с недопитым соком, прищурился, и принялся прохаживаться меж столиков: от соседки – назад, к собственному стулу, – и опять...

Неумолимый маятник – в наш век – от Эдгара По.

А вот Уна... как не видела соседа прежде, так и сейчас – в упор не видит! Хотя глаза открыла давно.

Зато пес на старика посмотрел, поразмыслил и решил прилечь между ним и хозяйкой – на всякий случай. Голову на лапы положил и глядит на беспокойного ходока – снизу-вверх: задумчиво, насмешливо и устало.

Пожалуй, на небо так не глядят!

Похоже, мы видим разные сны, милый, – подумала Уна и налила псу в блюдце воды. – Но ты не бойся... Только сон разума порождает

чудовищ. А ты – умница у меня, даже когда мерещится тебе пустое. Ну не с рогами, не с клыками же химера? И ростом – не в пол неба? Так что... можно и потерпеть!

А старик все ходил между столиками да припоминал...

Пять лет назад тебе захотелось взять у женщины-композитора интервью. Ты приятеля-музыковеда попросила вас познакомить. Если не в труд.

Помнится, ты уселась на скамье в Домском соборе, музыковед наклонился и заговорщицки так добавил, что познакомит после концерта, а куда...

– О-о! Она рядом с вами сидит!

Изумился, да, но голоса не повысил. Наверное, самому забавно стало, как симметрично и аккуратнo все складывается.

И ты пользуешься своим выгодным положением: вы еще не представлены друг другу, ты невидима для нее. Ведь композитору сейчас определено не до соседей по скамье, как и не до всего прочего.

Но ты держала соседку в ловчей сети бокового зрения. Словно не все рассмотрела...

А ведь не так все!

Пожалуй, ты даже поняла, что произойдет иное, только не знала, что именно.

Произойдет...

Женщина рядом с Уной протянула руку и взяла у соседки справа – родственницы или подруги – конфету.

Понятно, еще бы не понять!

Но когда зазвучала музыка, Уна поняла, что оказалась не там и не тогда.

А давным-давно в березовой роще на окраине города. Ей лет десять, не больше...

И роща небольшая.

Так, полупрозрачная вуаль из старых берез. Непонятно, как вообще сохранилась, с тех пор, как ее надвое перерезало шоссе. Но всегда, пожалуй, здесь высился забор – решетка, за ней сад. А в глубине – интернат, музыкальный интернат для детей из провинции.

Детки в клетке.

Им даже окраинные оборвыши сочувствовали. Те, которые коктейль из ацетона и черничного варения, стыренного в чужих подвалах, оценить могут, а вот штудии редких зверенышей за зеленым забором – нет.

Зато я могла, – блондинка в завтрашнем кафе сейчас не сомневалась. – Почти... могла.

Музыка – тайна, изнанка речи. Сон вровень с явью, перелетная паутинка. Не схватывается, не вмещается в укороченные одежды слов. Пусть уж летает себе без цели, без особых на то причин, – голубоглазый мужчина задумчиво качал головой на ходу. – Музыка – длится. Где-то обочь тебя, над тобой, в тебе самом. Необязательная, тише шороха крови.

Уна в детстве подошла от нечего делать к забору и всмотрелась вглубь сада. Исключительно ради собственного удовольствия рассматривала кусты, несколько отбившихся от рощи берез, яблони... темные, с гладкими зелеными яблоками, которые, кажется, никогда не созреют.

Просто так – яблоки, несъедобные даже на вид.

А потом девочка поняла, что замечталась вконец. И не заметила: кто-то наблюдает за ней, глядящей в сад. Кто-то, стоящий в тени деревьев.

Облако проплыло мимо солнца, лучи высветили сад, нанизали его на широкие плоские струны...

Уна вдохнуть от изумления не успела!

И я теперь вижу: тебя – десятилетнюю в драных кедах – по одну сторону забора, и твою чистенькую худышку-ровесницу – по другую, – старик прищурился. – Банально все, классики на асфальте. Пора прыгать! Все предсказуемо... Тебе придется отступить от забора, как и любому наблюдателю, застигнутому врасплох. Нечего глазеть на чужую жизнь! Как, впрочем, и мне – нечего листать чужие воспоминания. Но так уж вышло...

А девочка с Уны глаз не сводила.

Ты не знала, как поступить. Действительно... Не стоять же у забора! Глупо, – старик едва не рассмеялся вслух, но сдержался. – Никогда прежде ты не смотрелась в такое лицо – бледное, с полупрозрачной кожей, словно подсвеченное изнутри. Волшебный фонарик в ненужном саду, под бессмысленными яблонями, рядом с отсыревшим каменным монстром.

Полубезумный маятник в летнем кафе прав, конечно...

Интернат из детства Уны походил на брошенную великаном ковригу, несъедобную ни для людей, ни для богов. Если боги сюда все же навещаются.

А почему бы и нет?.. – скинул голову неутомимый ходок.

Но не тогда.

Тогда наступил твой черед сглушить, – догадался мужчина, искоса глянул на блондинку, но не на пса, хотя последний смотрел на него неодобрительно, не отрываясь. – Все же – сглушить, иначе не скажешь.

Но нельзя повернуться и просто уйти! – Уна в рассеянности теребила рыжую салфетку. – От таких лиц не бегут, они хуже зеркал, кажется, солнечный лучик переломился в глубине, скакнул на тебя... Шуришься, а закрыть глаза не можешь! И смешно немного. И вспоминаешь, что в правом кармане у тебя конфета.

Некстати вспомнилось: конфета.

Уже два дня в кармане, а ей удалось уцелеть. Редкость!

И девочка не придумала ничего лучше, вытащила конфету из кармана, и протянула руку между решеткой и железным столбом – на ту сторону забора? – в сад, знакомке.

А яблочный эльф из интерната взгляд от моего лица отвела, на руку посмотрела, потом снова на лицо, и опять – на руку. Вверх – вниз, вверх – вниз, все шире распахивая глаза. И понятно уже: испугалась. И совсем непонятно... чего испугалась? – Уна прикусила губу. – Испугалась... Конфеты? Незнакомой девчонки? Старых с травяной прозеленью брюк? Потертого рюкзака?

И не хочется вспоминать, а придется! Ты протянула конфету, а она убежала, – торжествовал в душе старик. – Вот и все!

Нет, не все! – разозлилась Уна. – И потом – непонятно и больно... ночами, когда считаешь баранов в бессонницу, а это не помогает. И все думаешь: чем я не хороша для девочки за забором?..

А чем я не хорош для тебя?.. Ты ерунду вспоминаешь сегодня! А мои разговоры – не про тебя? – Старик решил на что-то. Застыл неподалеку от столика блондинки и вперился тяжелым взглядом ей в переносицу.

Уна вскочила.

А ну его... и затрапезное кафе, и скверный кофе.

Мальчик мой, пойдем-ка мы домой, – непреклонно решила блондинка и торопливо сдернула сумочку со спинки стула.

На красавца-друга ей и смотреть не стоило, понятно: пес тоже вскочил, отряхнулся, разулыбался во всю пасть и несомненно намерен... домой! Домой! Домой!

Мимо старика Уна процокала быстро, ладно, не поворачивая головы. Зато пес – добежал до голубоглазого зануды, поднял голову, при-

нюхался... и ступил как раз туда, где ему нечто надоедливое – на его, собачий, взгляд – мерещилось. Здесь пес замер, упрямо почесал себя за ухом, и даже чихнул – для полной ясности!

А после догнал проворную хозяйку в два прыжка.

Дальше они двинулись вдвоем – прочь от кафе, петляя по парку, не оборачиваясь, не оглядываясь – еще чего!

Да и незачем вроде...

Любой теперь разглядит: выцветшее кафе, никого здесь – ни псов, ни умниц, ни химер.

День кренится к вечеру. Окраина города. Нищета, запустение.

И городская клиника...

Вдалеке.

А районный красавчик хотя и не приложился больше к спиртному, но так вовек и не вспомнит: что же с ним такое приключилось после полудня? Воды, вроде, газированной купил, захотелось. И долго на стеллажах магазинных что-то еще искал... Вот! Нашлось! Тоже – купил. И после куда-то брел себе с плоской цветастой коробкой. И хлопнул он дверью подъезда, в котором не жил никогда. Задержался в подъезде недолго. Сделал там что-то и... вон!

Вон! – приказал голубоглазый старик. И где-то в невыносимой дали – поджал губы.

А ковбоек сумел дойти лишь до далекой старой шашлычной, искал забор попристойней, и улегся под ним... До утра.

До тоскливого злого похмелья.

До бисерного дождя.

Уна с ним не столкнулась больше.

Разумеется! – старик улыбнулся.

Блондинка вошла в подъезд, вытащила ключи, первым делом, по привычке отперла почтовый ящик... И длинная блестящая коробочка конфет выскользнула под ноги.

Пес посмотрел на хозяйку чуть иронично и затрусил поскорее по лестнице вверх, домой. Пусть уж сама разбирается!

Целой коробочки конфет мне многовато, – подумала Уна. – А впрочем...

Стоит ее поднять, дойти до своей квартиры и приготовиться к тому, что и сегодня не получится заснуть.

Мне ведь не пятьдесят пять, не шестьдесят и не семьдесят... А мне придется думать о том, что понять невозможно! – Блондинка положила конфеты на стол и едва не заплакала.

Не иначе, опять вспомнила ходока с мотком проволоки у речки. А может, и смутную говорливую химеру в кафе вспомнила?..

Да нет же, нет! – Уна скинула туфельки, прошлась босиком.

Жизнь разграфлена на классики, впору прыгать.

Здесь каждому – свой шесток. Кому-то – преуспевать в пятом ряду мужского хора преклонного возраста. Кому-то – пожизненно не доверять здравости собственного рассудка в убежденно безумном мире.

Слез не удержать.

И часы здесь безбожно врут...

Да, часы здесь безбожно врут. И – слезы... – Голубоглазый старик потер глаза, прошелся по ночной комнате. Не загрустил, но призадумался. – У нас достаточно причин, чтоб заметить: океан воздуха, на дне – ты сам, люди, собаки, дожди, книги. И музыкальные фразы, и тени деревьев. Коридоры памяти, песочные замки и собор Парижской Богоматери. У нас на двоих: и запах сирени – у меня под окном, и разбитое соседским мальчишкой – твоё окно.

Уна поняла старика. Конечно. Не могла не понять.

То ли слова ввечеру яснее, чем в полдень в кафе, то ли коробка конфет утешает...

Нет, не утешает, – тряхнула головой блондинка и едва не зарычала. – Мы делаем всего шаг вперед от непросыхающего ковбойца с пьяными снами и от омылка человека на пустыре. Так чем же мы лучше?!

Да ничем, – пожал плечами старик, поднял голову и посмотрел на смурное предрасветное небо за своим окном. – Нам тесно в мире. Один размывает стены спиртным, другой – кислотным дождиком бреда. А мы... делая шаг, миновали страны, моря, лживое время. Да можно и мир натянуть, как перчатку! У меня получилось, не так ли? Так! И конфеты сегодня ты все же взяла. Ты смелее девочки за забором!

Не утешают, нет, не утешают конфеты. – Уна сама внезапно уподобилась безумному маятнику и принялась расхаживать по комнате из угла в угол, как заведенная. – Мы сами – бред и химеры!

Права блондинка. Права, несомненно. И ошибается... наверняка.

Старик засмеялся.

Пес потянулся в дреме. Тишина...

## СЕРГЕЙ ПИЧУГИН

## СТИХИ

## К р ы м

Метеоритный август. Небо на звездной тяге  
плет теплоходные зарева. В море играют блики.  
Ясный медовый месяц светит усталым бродягам,  
на домотканых салфетках – агаты и сердолики.

Запахи газовых кухонь. Весталки плетут небылицы.  
Взгляды в лавровых листьях. Веселье в поселке поэтов.  
Тихо сестра-Киммерия крадется линиялой тигрицей,  
с шелестом Землю вращает в горячих ладонях лето.

Днем за любимой вьется вьюном загорелый посланец.  
Он не знает, что с нею – как на скале, у воздушной ямы,  
что моя милая, мой солнечный протуберанец  
по ночам изменяет с небом, зацелованным соловьями.

Он, наивный, не ведает, что они мелют, эти емели,  
что рядом с нами грохочут обломки слоновьих башен,  
что в объятиях сна шевелясь, просыпаемся утром с похмелья  
членисторуким косматым Шивой, великим и страшным.

Он потерял бы дар речи, но приобрел бы веру:  
морем пророк идет, алой одеждой рея,  
в древнем рапане ветром шумят шумеры,  
и на волнах качаясь, поет голова Орфея.

Чтобы свой век беспечально прожить, вы мне поверьте,  
вовсе не обязательно делаться пошлым и грубым.  
Так и быть, научу, как спастись от жизни и смерти,  
как отводить от их поцелуев ключицы и губы.

Немилосердна к тебе эта жизнь, только нету искусства –  
мышью летучей парить в отражениях собственной злости.  
Перепопчатокрылый слух тяготееет к шестому чувству,  
и оно таится на пальцах, на кончике белой трости.



Твои письма сегодня доходят ко мне голосами эфира.  
Через три года, как и предсказано нашей верхушкой,  
если даст Бог, то печалью пройдет мимо нас Нибиру,  
как караваны верблюдов проходят в игольное ушко.

Александрийский слух гудящих каменных арок.  
Небо трехзвонной Тавриды яснее, и в качестве платы  
штормом на берег нам вынесет невероятный подарок –  
пару талантов с профилем – то ли Цезаря, то ли Сократа.

И з ц и к л а « В р е м е н а л ю б в и »

## ЯНВАРЬ

Честным огнем возведена  
в колючей темноте созвездий  
от бесов сторожем небесным  
неодолимая стена.

Морозом воздух оперен,  
разметены по всей округе  
кристаллики небесной вьюги...  
Китайский карантин времен.

И замирают в полусне  
комочки снегирей пасхальных,  
берез морозные купальни,  
и стих идет легко, как снег.

## АПРЕЛЬ

Неистовствуй, печалься, прекословь, –  
найди меня, мятежная любовь  
поверх приличий  
зимующим в крученой шерсти снов.  
И в небе вер, и в реве кабанов  
и в речи птичьей

родился междометий алфавит.  
Лишь только солнце вволю охмелит  
весною снежной –

лесным ручьям мы имена дадим.  
Как детский лепет, непереводим  
их голос нежный.

## НОЯБРЬ

В тебе я был один, как сон,  
и каплей неба, невесом  
в ночном дозоре.

Но точно ветром сорвалась  
душа, теряя с небом связь  
в земном просторе.

И первый раз в моей ночи  
отец в остуженной печи  
раздует пламя.

Оно в поленьях зашипит.  
Уставшей роженицей спит  
родная мама.

## ДЕКАБРЬ

Мы на холсте изобразим  
Флоренцию простоволосых зим,  
летающих голубей мороза.  
Прими новорожденный хруст!  
Земля, не размыкая уст,  
лежит во тьме хриплоголосой.

И не отыщется причин  
тому, что город стал ничьим,  
в косматом ветре задыхаясь.  
Проказы снежной детворы –  
костры офортов ветровых  
и мой, в тебя влюбленный хаос.

---

# АВАНТЕКСТ

БОГДАНА ЛОБАН

## НАОЩУПЬ

С е д ь м о й

Вода поднимается в лодках глаз – вот-вот потонут.  
Быстрой походкой из глаз выбивается город,  
Существующий, и так, наполовину. Холод.  
Можно впервые измерить дорогу амбарами.  
Люди теряют здесь шапки и варежки парами,  
Из закровов веет зернами пряными.  
«Вперед, вдоль реки, уходящий трамвай, не седьмой?» – на бегу.  
«– Четверка, не мой».  
На остановке стоит молодая красавица.  
От своей красоты у нее все внутри поджимается,  
Но для связи со всеми другими – убогими – горбится,  
А рядом какая-то пьяница «не может попасть домой».

Подошел и седьмой. Тороплюсь, это важно –  
Зайти во второй и уткнуться в окна монохром как в кино.  
Сбоку старухи, очерчивают головами просторы вагона,  
Как барабанными палками, бьют ими воздух трамвайный.  
Как у всех перешептывающихся, у старух имеется нить  
Между устами одной и стаканом другой,  
Напоминающая бесконечности знак по округлости формы.  
Вращаются головы колоколами по круглой орбите.  
Укачало. Мы катимся вместе с трамваем отрубленной  
Головой, по земле  
Шлепая нечесаной косой.

—

Мысль как короткая юбка, ползет при ходьбе:  
«Трудно закуривал туго набитую крутку  
В тихом дворе на обычной зеленой скамье».  
Брызгая вальс по дороге домой, торжествую  
Гордая – я никому ничего не сказала,  
Даже секретом и после второго бокала.  
Только в оконных, в единую слившихся, рамах  
Дрожит световая слеза перегруженных телеэкранов.

Синие темно всегда на тебе были джинсы,  
Вечно твердил, что, на них, мол, «грязи не видно».  
А я говорила, что голос слышится в кашле,  
Также, как чувствует город и улица башнями,  
Что пять и четыре в быту побеждают любое двузначное,  
Что в значении «мы» «я и ты» недостаточно слитные,  
Что нас отделяют две улицы, окна на стороны разные,  
Два дома, два города, четыре руки, две отдельные личности.

#### Ч е т в е р т о е   м а р т а   ч е т ы р е   ч а с а

Что значит четвертое марта четыре часа, либо дня, либо ночи?  
Праздник? – не то, чтобы очень.  
В Риге по крышам торопятся кошки  
Тоже во времени и по пространству наощупь.  
Им плевать на четвертое марта четыре часа, либо дня, либо ночи.

Что значит четвертое марта четыре часа?  
Для птиц, что родную землю забросали  
Теньями. Для солнца, что катится днем,  
Тенью своей во дворе убывая, с дома на дом.  
Захочет – и сможет не выйти на суеверный поклон.  
А артист обречен, завершая последний концерт  
В феврале, петь свою самую первую песню,  
Спетью когда-то allegro во второй половине апреля.

Что значит четвертое марта четыре часа, либо дня, либо ночи?  
Для эмбриона, который тупой и не знает

Что с сего дня его носит несчастная мать-одиночка.  
На бардачке скучает перчатка,  
Хочет напомнить про позапрошлого года четвертое марта.

«Что за черт?!»

Грязными стонами врет, зазывает вода.  
В правом баюкают мне: «не ходи со двора».  
Поздно. У нас тет-а-тет с темнотой.  
Липнет к губам, поцелуем крадет кислород.  
Хватился креста. Вспоминаю твой облик – размыт.  
«Мы с тобой потанцуем?» – твой голос дрожит.  
Кто-то щипает меня. Моя кожа горит.  
От мелких песчаных ударов огня  
В воду кидаюсь всем телом – пожаром плашмя.  
Я барахтаюсь в нежной запутанной тине  
«Что за черт?» Понимаю, что это песок.  
Охваченный снова огнем – полымем,  
Делаю носом размашистый вдох  
И вода ощущается смрадная в нем.  
Бейте, трубите в набат: «Что за черт?!»  
Я курю и теперь не в воде, не в песке  
Я пепел невкусно трясу себе в рот.  
Пластинка играет одна: «Что за черт?! Что за черт?!»

СВЕТЛАНА ТИМОФЕЕВА

СТИХИ

Прощание с детством

Солнце вдали холодеет неспешно,  
И, покидая земной небосвод,  
Радужный лучик прощается нежно.  
Дней моей юности начат отсчет.

Может обыденна... в спешке заляпана  
Грязными пальцами первая грусть.  
Чутьочку ветрено. Чутьочку страшно,  
Что я сюда никогда не вернусь.

В этом мгновении, в полуулыбке  
Мира кусочек, которым жила.  
Дарит весна мне невесты накидку,  
Ласточки в белом плетут кружева.

Тишина

*За углом начинается вечность,  
только там смертельно скучно одному...*

Тишина ползет по улице и тушит  
Огоньки людских беспечных слов.  
Глухота течет по комнате и душит  
Судорожную стрелку за стеклом часов.  
Затаив дыханье, ветер падает  
С ветками березы на траву.  
Заметалось, разревелось сердце рваное,  
И окамениться не могу.

Дождь забрал любовь мою  
И выменял на белесую луну в своей воде.  
В сумраке трещит фонарь морзянкою:  
Помогите... помогите... помогите мне...

## АРТЕМИЙ ШЕЛЯ

### ПРИВЫЧКА

Было темно, шел дождь и уличные фонари блестели на изнанке мокрого стекла. Аркадий Филишович Ренц, сорокалетний белый и жидкий бухгалтер обнимал спящую маленькую жену. Она благодарно улыбалась и уютно сопела, а Аркадий Филишович на время отпустил своих ночных, легких дам из дыма, участливо погладил жену по бедру – шевельнулось одеяло, – и он снова стал засыпать среди полуоткрытых грудей и волнующего полувзвук шелка на изогнутых телах. Вернулось ощущение острого счастья, сон свело судорогой, Аркадий дернулся, его переполняло, он сильнее стиснул жену, хотя хотел бы обнять большого коричневого плюшевого медведя. Плюшевый медведь пошевелился, взял бухгалтера за руку и, из-за сна горячо, прошептал: «Аркаша, ты чего? Не спишь?» – и тут же счастливо заснул опять. Аркадий Филишович остался доволен собой, своей чуткостью к жене и тем, что за всю жизнь его никто по-настоящему не разгадал.

Жена была слишком счастлива, чтобы думать об этом нелепом пузыре на косых ножках что-то кроме того, что он делает ее счастливой. Аркадий же, раз встретив женское, пленительное, раз почувствовал чужой, влажный взгляд – немного подумал и согласился, вскоре женился. «Очень хороший», говорила о нем жена, а Аркадий радовался такому себе, и со своими дамами тихонько посмеивался над тем, как удачно и просто получилось всех обмануть, и вот теперь он спокойно может сидеть в их стройном обществе, нога на ногу, непринужденно шутить, разглядывать острые груди под платьями, волновать их румянец своим видом, брать любую из великого скопища красивых и длинных ног, полупрезрительных, полупокорных улыбок на тонких губах, брать на всю ночь, до бледных брызг рассвета над остротой городских антенн. После, конечно, забываться призрачным, коротким и абсолютно счастливым сном, просыпаться раньше жены, делать ей чай и бутерброды, оставлять налитую неостывшими чувствами записку и уходить на работу, аккуратно щелкнув клювами замков и простучав каблучками начищенных туфель четыре этажа вниз.

Нина, чья-то секретарша, Нина в бежевой блузке, на которой две верхние пуговицы так чудесно... в общем, Нина, с черными кудрями волос, с бежевой блузкой, с бледной кожей и черной, узкой юбкой, черно-белая Нина, у которой, когда сидит, на овальных бедрах иногда раз! – и видна зовущая полоска темного чулка, а маленькая туфля

иногда трогательно слезает с круглой пяточки, пока Нина качает ногой, рассматривая документы, или крутя телефонный провод, на котором крутятся случайные взгляды мужчин, их случайный и быстрый онанизм в ванной перед сном, их случайные жены и дети; и вот доска с нарезанной редиской, вот шум малого огня в плите, но смотрится как-то мимо, через любимое плечо жены и вскользь по редису, и хорошо если бы в окно, и то не туда, а дальше-дальше – измученный и иступленный, безнадежный поиск во тьме, где в конце концов все равно подъезд с облипшей насекомыми лампой и жирной, черной надписью – да и та висит недостижимо над тобой, между 34-ой и 35-ой квартирами... Так вот Нина, чья-то секретарша, и новый проект Аркадия Филипповича даже с начальником своим не спала в разрез с общественным мнением, а спала только с мужем, умела вкусно одеваться и хорошо готовить.

Эту бледную Нину со слезающей туфелькой, Аркадий Филиппович давно замечал среди своих полупрозрачных женщин, иногда она оказывалась ближе или дальше в водовороте томных лиц и медленных жестов, но всякий раз он отыскивал ее и покровительственно улыбался, мол, не бойся, не бойся этих людей, я тебя выделил, ты – моя избранница. Аркадий был очень удовлетворен таким своим поведением, и ночью сильнее прижимался к жене, а она закусывала губу и жмурилась от детской радости, делая вид, что все-таки спит, и совсем ничего не знает о его любви. А Аркадий приближал к себе Нину, ту из вихря женский тел, и аккуратно трогал ее чуть-чуть непрямые волосы, в постели же – закатывал глаза, и все сильнее прижимал к себе жену. Она почти боялась, почти хихикала и почти спала.

Когда Нина, чья-то секретарша, очень настоящая, мелькала туда-сюда по белому, душному офису и в это время попадалась на глаза белому и жидкому бухгалтеру Аркадию Филипповичу Ренцу, он начинал задыхаться от волнения, быстро моргать и не понимать, почему ночные дамы спускаются сюда – в царство регипсовых перегородок и пыльных денежных деревьев, где так просто, понятно и тошно. Они должны были оставаться там, в сизой павлиньей дымке, раскручивать шали тонкой своей красоты, видеть его только статного и сильного, отдаваться ему по щелчку, что там – отдаваться с одного взгляда, от его дрогнувшего уголка рта сторать от дьявольского желания, чутя молнии его мыслей и рвать на себе легкие платья, пугаясь и восхищаясь собственной слабостью, слабостью линий, которые держат их всех и – его в этом неокончательно заснувшем мире, где осталось горящими три окна в доме напротив. Они все должны были жить там, и он, Аркадий Филиппович, диктовал им жизнь, вырастал в демиурга, в безумствующего композитора, опьяненного чернокрылым Мефистофелем, он опреде-



лял их размытые границы... и тут! Оплошность! Нина, та самая Нина, чья-то секретарша, которую он столько раз, обгоняя приближающийся рассвет; Нина каким-то образом вырвалась из бледной дремы, ходит по его офису и между ними – пропасть, означенная ее мясом на костях. И Аркадий Филиппович не понимал этого, никак не мог скинуть с нее тело, чтобы то, что останется, скинуло с себя одежду, он жадно хватал обрывки ее движений и слов, тянулся к ней так, что поднимались волосы на руках, не знал что ему делать, как все уладить и вернуть на места, как наконец-то снова начать дышать ровно и успокаивать скачущие сонмы чисел в бумагах.

Одним летним вечером, жуя жаренную с луком свинину, Аркадий Филиппович решился. Завтра. Завтра он засыплет пропасть, доберется, пускай ползком до этой женщины тут, здесь, где гвозди вбиваются в ладони, а после соития – каждая тварь, как водится, грустна. Все будет как прежде: любящая жена, кроссворды с ней вдвоем по пятницам, шкаф скучных рубашек, царство дымных дам ночами, и Нина, секретарша, – где-то между всем этим, два раза в неделю, в чулках и в его расстегнутой рубашке, курит на чужой ему кухне, а на подоконнике – едкая герань и сухой кактус. Аркадий Филиппович Ренц проснулся июльским утром, поцеловал жену в щеку, умылся, а после – опасно побрился, выбирал одеколон и рубашку минут десять, пожарил яичницу из трех яиц, что удивило бы его жену, если бы она не спала. Позавтракав и выудив остатки желтка куском белого хлеба, Аркадий Филиппович надел бежево-серые, очень легкие брюки, затянул ремень, отчего брюки надулись и пошли уродливыми складками. В зеркале сорокалетний бухгалтер с сине-коричневыми надутыми мешками под глазами причесывал редкие светлые волосы, крутил головой и облизывал губы. В комод, приспособленном под обувной ящик, он нашел почти новые сандалии с длинными болтающимися ремешками, обулся и выпорхнул, еще раз поцеловав уже проснувшуюся жену.

По дороге на трамвай, Аркадий Филиппович купил большой букет полуувядших каких-то синеньких, мелких цветков и вот уже стоял на светофоре, от волнения и радости немного покачиваясь, фальшиво насвистывая и перебирая в кармане медную мелочь.

Загорелся зеленый – люди хлынули, а Аркадий Филиппович замер и затих. По-родному прогремел его трамвай, блеснул утренним солнцем, и ушел куда-то дальше, забрав людей с остановки. Аркадий Филиппович стоял на перекрестке и смотрел как зеленый человек сменяет красного человека, а сверкающие автомобили – вжи, вжи – мчатся, кажется, по кругу и все здесь – это же та самая трасса с пультом, красной и желтой машинкой, которую как-то Аркадий Филиппович увидел на

витрине детского мира и поклялся купить сыну, который так никогда и не случился в его жизни. Он вспомнил, что плита давно не мыта, а на ее решетке собрались остатки старой, исторической пищи. Он подумал, что жена сейчас в душе и мажется чем-то, что хорошо пахнет, и сегодня она вроде собиралась менять постельное белье, и ночью будет свежо, и можно будет открыть окно. Он понял, что его штаны – отвратительны и их давно пора выкинуть, или сшить из них парус и уплыть в Африку показывать огонь туземцам. Он понял, что его подмышки не смотря ни на что – воняют и оставляют огромные темные пятна на его скучной рубашке, а прошел уже его третий трамвай, а жена скоро уйдет на работу и надо успеть, потому что цветы, хоть и подувянувшие, все равно – цветы, и Аркадий Филиппович Ренц развернулся, сплюнул с души через левое плечо и пошел домой по газону, щурясь на распалюющееся жаром городское солнце.

---

**НИКИТА КАРПОВ****УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА**

Бег трусцой не только позволяет сохранять в тонусе мышцы, но и благотворно влияет на деятельность мозга. Американские ученые установили, что бег трусцой и другие интенсивные физические упражнения вызывают усиленный рост новых клеток мозга. Причем в области, напрямую связанной с процессами обучения и запоминания (Лев Николаевич МАРКОВ, заслуженный тренер СССР).

*– Темно... Но я ведь только что моргнул. Или что это вообще было? Да, точно моргнул. Ладно, надо сконцентрироваться на остальных ощущениях... Так... я лежу, а подо мной мягко – это хорошо, вроде ничего не болит – тоже неплохо... надо бы пошевелиться и проверить... Э-э! я забыл как это делать! И где я?! А я вообще есть? Стоп. Я ощущаю, хоть и слабо, какое-то давление на спину, значит, скорее всего, я лежу. Ничего не слышно и не видно... ни запахов, ни вкусов... это что, значит, что у меня есть только моя спина?! Погоди, я же могу шевелить глазами – значит они есть, а то, что ничего не видно, это уже другой вопрос. А если не шевелятся руки и ноги... значит, их нет? А ведь я еще возможно и слеп... Ладно, потом разберемся. Так, у меня есть сознание, а следовательно и мозги, а в мозгах – память. Вспоминай, Серега... О! Серега. Это мое имя, точно! Отличное начало, так...*

В этот момент, справа, из непонятно откуда возникшей полоски света, донеслись звуки шагов. Шквал радости Сергея сбил всю его хрупкую цепочку размышлений, крича только лишь одну мысль – ЖИВ!

Все внимание Сергея было приковано к этой полосе света, он жадно вслушивался в то приближающиеся, то отдаляющиеся звуки отлипающих от стопы и бьющих по пятке сланцев. Наконец, ему пришлось в голову позвать на помощь, или хоть как-то привлечь к себе внимание, и он резко выдохнул. Конечно, это было не совсем то, чего он хотел, но учитывая, что еще пару минут назад он не знал, как добиться от своего тела и этого, то гордости и радости его не было предела. Теперь он ощущал, что у него есть еще и горло с грудью.

А пока Сергей радовался новым ощущениям, полоса света пропала, а звуки, исходящие из нее, затихли. Странно, но как только он это осознал, то все навыки владения телом забылись, а разуму вновь стало казаться, что он растворился в темноте.

– Ладно, допустим я часть темноты. Или в сущности и являюсь воплощением тьмы в отдельно взятой точке пространства. Хорошо, тогда каким образом мне воздействовать на окружающие вещи? Какие еще вещи? Тут ведь нет ничего... выходит, что я есть все?... не, чушь какая-то. В таком случае, почему я мыслю и чем моргаю? Что давит на мою спину? В конце концов, что это был за свет... проявление Бога? Его ж нет... Так, а почему нет? Потому, что нелогично... Так, хватит! Надо вспоминать.. я...я Сергей Палыч... я...

И вот тут, через мозг Сергея, менее чем за секунду пронесся весь ассоциативный ряд, вызванный непонятно откуда пришедшим в голову отчеством «Палыч». Дело в том, что так его звали студенты, которым он преподавал химию в одном захудалом институте. Далее, так как исходного материала было довольно много, воспоминания стали приходиться к нему практически без усилий. За очень короткий отрезок времени Сергей осознал, что он не Темнота, не Бог и ни какая другая бестелесная форма жизни; что лежит он скорее всего в больнице, а последнее, что помнит, – так это поездку на своем велосипеде с работы домой.

Обладая такими познаниями, он даже предположил, что стал жертвой несчастного случая, хотя мысль о каком-нибудь внезапном сюрпризе от собственного здоровья назойливо бегала где-то на периферии: все-таки родственники и коллеги уже лет пятнадцать зудели, что его постоянные передвижения противостественны и вредны. И вообще, в старости положено больше отдыхать на лавочке, так как силы уже не те.

Пока Сергей прикидывал возможные причины попадания в это место, будь то ДТП или еще что, темнота начала рассеиваться: сначала появились четыре серых квадрата слева, а вскоре и вся комната переняла эту унылую краску, приобретая вместе с ней и кое-какие очертания. Очертания приобрел и Сергей – через тонкое одеяльце проступали контуры ног, рук и торса. Визуальная цельность организма не только радовала, но и рождала в мозгу инструкции по использованию, которые незамедлительно были применены Сергеем на практике. Начать он решил с речи, и первым его словом стала неразбериха из пяти или шести матерных слов, которыми он попытался выразить свое текущее состояние. Тут же из-за окна откликнулась ворона, таким образом поприветствовалась то ли Сергея, то ли еще один серый день.

В комнате, помимо Сергея, никого не было, а незамысловатое убранство – тумбочка, вешалка и что-то вроде ширмы, хоть и выглядело чистым, стояло как-то безжизненно и неухожено. От такой упадочнической картины ему захотелось как можно скорее убраться отсюда, куда угодно, но только прочь из этого серого куба, в котором, казалось, даже воздух был лежалым.

Тот факт, что Сергей видел свои конечности, значительно упрощал его задачу – криво и неуверенно он сумел сесть на кровать и свесить ноги. Желание уйти пульсировало в его висках шипящим звоном, и он сам не понимая как, в полуприсядку и шатаясь, пошел к двери. Открыв ее и вывалившись за пределы серой комнаты, он оказался в коридоре – это если смотреть глобально, а если конкретнее – то плотно упершимся в пожилую санитарку, которая как раз в этот момент бегло протирала пол возле его палаты. Санитарка в свою очередь упиралась в стену узкого коридора, и уже было начала возмущаться, как опешивший Сергей, видимо от обилия эмоций, спросил: «Это вы?». Последовало недолгое молчание, в котором один думал о том, какую чушь он сейчас сказал, а вторая – о том, что даже перевод в корпус коматозников не гарантировал ей отсутствие встреч с полоумными. Наконец, неловкую паузу снял голос из-за угла: «Зин, тебе с сахаром, или без?», но Зине было не до сахара – худощавый седой мужик, хоть и отлип от нее, все еще не переставал на нее ошарашено пялиться и всем своим видом показывать, что хочет много о чем спросить.

Зинаида Сергеевна работала в этой больнице уже тридцать два года, но, как показалось Сергею, была из тех немногих, кто не освоил из-за низкой зарплаты и чересчур частых контактов с убогими. Она отряхнулась, выпрямилась, и как-то по-домашнему перенаправила вопрос: «Тебе с сахаром, или без?».

Через пять минут Сергей уже сидел в кладовке, переделанной под санитарскую каморку, довольно тесной, но от этого уютной и пил кипяток без сахара – санитарки на всякий случай не дали ему чая – кто его знает, что можно, а что нельзя после выхода из комы...

– Не вовремя вы в наш мир вернулись, Сергей Палыч, осмотреть вас некому, – мы с Маринкой-то хоть и в халатах, да из медицины знаем только, как мертвого от живого отличить, – с профессиональным, не злобным цинизмом сказала Зина, – руководство больницы, всей толпой, на награждении в райцентре, а те, кто помельче, сейчас раньше полудня не выходят – от чего ж и не поспать, пока не видит никто?

– А почему же тогда вы здесь? – с некоторой обидой произнес Сергей.

– Да живем мы тут. Почему, по-вашему, я так долго просила перевести меня на «овощебазу»? Тихо тут и спокойно. А к распорядку такому все равно уже привыкли.

– Овощебазу?

– Да, это у нас так соц.корпус называют, где коматозники жизнь свою долеживают. Вы, кстати, в нем и находитесь.

– Соц. корпус... погодите, хотите сказать, что я тут только пото-

му, что родственники посчитали меня обузой?

– В принципе – да. Сюда, как правило, попадают только безнадежные, но еще самостоятельно дышащие. Остальным же, кто месяц в себя не приходит, просто отключают аппарат, и пишут в карте: смерть головного мозга. Чтоб казенную аппаратуру не гонять. Вам вот отключили, а вы не умерли – ей Богу, не душить же вас... – усмехнувшись, выдала Зина.

– Дайте телефон... – дрожащим голосом сказал Сергей, – его снова охватило желание бежать прочь отсюда.

Затхлая, для виду протертая влажной тряпкой атмосфера, от которой он начал бегство еще в палате, была и здесь.

Номер дочери он вспомнил на удивление быстро, а пока шли гудки, Сергей несколько раз взглянул на пожелтевшие, пластмассовые часы на столе – без пяти восемь, уже не так рано.

«Але, Света! Это я, папа твой!» – Чуть ли не прокричал в трубку Сергей, а глаза его при этом горели надеждой и предвкушением глотка свежего воздуха. Но из трубки проследовал только сухой ответ «ага, и тебя так же» и короткие гудки. Какая-то непонятная обида пронзила Сергея в этот момент – он неуверенно положил трубку, смотря куда-то сквозь телефон.

*– Ладно, наверное спросонья злая... да и тем более, наверняка ведь все свыклись с тем, что я безнадежен... нельзя же вот так вот, в лоб... Нужно чтоб какое-то официальное лицо позвонило. А хотя сейчас это будет уже не то – доченька же сочтет все это за назойливую шутку... Да и какое официальное лицо? Санитарки? Надо подождать... Да, подождать, пока доктора не придут – они-то и позвонят, и скажут все как есть.*

Сергей поднялся, и со знакомой ему слабостью в ногах побрел в свою палату. Санитарок он по пути не встретил, да если бы и встретил, то не заметил бы – в голове была только одна мысль: «ждать». Он как-то на автомате дошел до своей палаты, прилег на койку и усталился во все еще серый потолок. «Подожду до полудня», – подумал Сергей, и ему снова показалось, что тело начинает цепенеть и сливаться с койкой. Он моргнул, и тело обрело приятную, серую тяжесть, «подожду до полудня»... – подумал Сергей напоследок, и провалился в темноту сна.

– Слушай, Зин. Вот стоим мы тут, курим, а Сергей Палыч наверняка уже ушел к себе и спит. Тебе не надоело каждый день говорить ему одно и то же, давать этот поломанный телефон и уходить?

– Да ну, понабегут еще доктора, поднимут шум... А так – раз в день пройдутся, посмотрят, все ли живы, и уйдут, и весь день тихо, спокойно. Лично я, в свои сорок девять, хочу именно этого, а получасовое блуждание какого-то полоумного деда, не помнящего даже вчерашнего дня, не так уж и страшно.

– Ну, ладно, в конце концов, это на твоей совести, я с ним ни разу даже не заговорила...

– Между прочим, я ему даже почти не вру, ну, разве что про награждение это... Так что моя совесть чиста.

– То есть, как это? Выходит, что мы обе чисты, а человек остается обманутым, что это, значит, судьба его такая? Не справедливо как-то...

– На все воля божья... Пошли внутрь, глаза уже болят от этой ливствы...

---

# IN MEMORIAM

АЛЕКСАНДР ЧАК

## ВСТРЕЧА И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

*Крупнейший после Райниса латышский поэт Александр Чак (1901–1950) над своим сочинением о латышских стрелках «Осененные вечностью» работал на протяжении десяти лет (1930–40). По словам современников, поэт считал, что, если у латышей вообще когда-нибудь может быть создан героический эпос, как у некоторых других народов, то единственно о сражениях героических и легендарных стрелков.*

*Эпос состоит из отдельных, хронологически между собой не связанных, сочинений, многие из которых достигают могучего звучания и поэтического совершенства.*

*«Осененные вечностью», пережив первичное издание (1937–39 гг.), долгие годы не переиздается – по идеологическим соображениям, иной раз – прямо другу другу противоположным. Это продолжается до 1988 года, когда в Риге на языке оригинала выходит из печати полное, без купюр, издание.*

*«В советское время кое-что из „Осененных вечностью” впервые опубликовано в Москве на русском языке, к тому же – в скрытой форме. В избранном „Сердце на тротуаре” переводчик В. Невский помещает „Латышских стрелков”, не указывая, что это „Перелом”, выдержка из введения в эпос», – сообщает нам литературовед Илгонис Берсонс в послесловии к рижскому изданию 1988 года.*

*Поэт могучего, разностороннего дарования, – то надевающий на себя какие-нибудь маски и преобразующий свое письмо в карнавальный стиль; то отчаянно тоскующий от безответной любви, разлуки и несбыточности тонкий лирик; то влюбленный в свою Ригу урбанист; то музыкант, олицетворяющий образ страстного игрока – в жизни, в искусстве, – А. Чак снова и снова привлекает к себе внимание переводчи-*



ков поэзии. Возникают все новые переводы из Чака и на русском языке.

Предлагаем вниманию читателей несколько впервые переведенных произведений поэта из цикла новых работ Сергея Морейно, а также сочинение «Чертяка с гиблого острова» из героического эпоса «Осененные вечностью», автор перевода которого – рижский поэт, прозаик Алексей Герасимов, до сих пор, кажется, мало и редко уделявший внимание поэтическому переводу. И вот – не устоявший перед пленительным А. Чаком.

Ирина Цыгальская

## Встреча

Он ждал меня на рельсах у Агенскалнса, но дело кончилось протоколом, когда он приложил меня за то, что я увел его девушку.

Он был молотобойцем в маленькой кузне. Весь его скарб это старая койка да стол с сосиской, и пивом, и пресной кашей в засаленной плошке, преснее, чем его жизнь. Халупа его на окраине, где песок, и сосны, и синее небо.

Одно было счастье, субботний вечер в Аркадии, тир да люстгауз, да девушки, крепкие и беззаботные, будто мечты, будто деревья вокруг, будто цветы во дворе его дома.

А он любил свою жизнь, простую, как труд, тяжелый и монотонный, будто молот, который он заносил над своей головой каждый день от рассветов до золотистых закатов.

Он меня приложил за то, что я увел его девушку, за то, что видал меня среди этих, кого ненавидел сильнее, чем безысходные будни.

А он был красив, как природа, как всё, чем нас обделили, блажен, будто музыка Моцарта, и его комната на безнадежной окраине, где синее небо и сосны, была отлично знакома девчонкам, как в детстве дорога в церковь.

И он понравился мне, я бы тоже хотел бы уметь так бить, хотел быть таким же бешеным, будто солнце и ветер, и быстрым, как мелькнувший мимо нас поезд.

Он был безбашенным ветром, сорванным поцелуем, солнцем, каждое утро крадущим землю у ночи.

К и т а е ц , з н а в ш и й л а т ы ш с к и й

В рюмочной,  
на улице Дзирнаву,  
где ночами  
покупают хуторяне любовь,  
половой-китаец  
разносил пиво  
и говорил по-латышски,  
кланяясь по-китайски низко.

Косу  
в полметра длиной,  
смолисто-черную,  
как антрацит  
и столярный деготь,  
он с китайской покладистостью  
пожертвовал моде Европы  
на все короткое.

И, согнувшись втрое,  
он шептал прямо в ухо  
про маленький погреб  
с чудесными трубками,  
в переулке Вецриги,  
кривом и узком,  
как его взгляд.

Он шептал на ухо  
так легко и тихо,  
как ползла бы муха  
по мраморной стойке.

И, блеснув зубами,  
как в киноленте,  
он протягивал ладошку  
за медным спасибо  
за сладкую и секретную весть.

## Пацанская песенка

Этой ночью лишь тебя люблю я,  
И до завтра мне другой не надо.  
Подойди-ка, вместо поцелуя  
Смачно я влеплю шлепка по заду!

Бросить мне тебя здесь не пристало,  
Даже с тем вон, что танцует в маске.  
За тебя держусь я как, бывало,  
я держался за винтовку с каской.

Выпей рюмку, пусть хмелеют очи.  
Эту грусть собьет нахальный джимми.  
Наплевать, что с ложа этой ночи  
Оба мы поднимемся больными.

Наплевать, что голод ждет нас где-то,  
Здесь рассудок слушается сердца.  
Эту ночь придется до рассвета  
Выпить всю – нам никуда ни деться.

*Перевел с латышского Сергей Морейно*

## Осененные вечностью. Фрагмент

## ЧЕРТЯКА С ГИБЛОГО ОСТРОВА

Август. Утро. Зреет сочно-красный бутон  
На краю лазурного неба. Мерзкий запах тлена,  
Запах палева ноздри тревожит.  
Стынут от холода корни деревьев и кроны.  
На тощей бесплодной почве между окопами  
Стынет крошево из человеческих тел.

Раннее утро. Немчура затаилась. Воздух  
Необычайно легкий. И дали трепещут, как занавески.  
А на левом краю лазури  
Ноздреватая и зеленая, как большая охалка травы,  
Туча спит, на бочок завалившись.

Воды сонной Даугавы – тёмны,  
Утренний туман над рекой – как одеяло.  
Лишь иногда ветер рванет вдоль острова  
И приоткроет старую переправу, шаткий мост,  
Да приземистую баньку в ложбине  
Рядом с поместьем Ливес.

Здесь разместились бойцы из резерва,  
Чаевничают, покашливают, готовятся к новому дню.  
Пламя жадно лижет котел: там варятся рульки.  
Щечки винтовок блестят – начищены маслом.

Тишина. День прошлый выдался жестким.  
Минометы до самой полуночи  
Без продыху плевались горячим металлом в землю,  
Крушили землянки и зарывали окопы.  
Артиллеристы с обеих сторон пытались нащупать  
Хитроумно укрытые минометные гнезда,  
Чтобы расколошматить их как лесные орешки.  
Унтер Дамбис, стрелок-минометчик,  
Играл на своем инструменте без устали:  
Справа от старого еврейского кладбища  
Укладывал он свои мины, словно буханки в печь,  
Четко, ритмично и точно туда,  
Где примечал своим рысьим взглядом  
Немецких зольдатен унд официрен в схронах.

Напрасно пытались достать его пушки,  
Одна за другой шмаляли до самой глубокой ночи.  
И все – в «молоко». Однако, снаряды уж ближе,  
Плотнее к укрытию поочередно ложатся.

– Дамбис, остерегись! – кричит молодой офицер,  
Нервно сжав пальцы в кулак.

А Дамбис в ответ лишь скалит зубы,  
Белые, привычные к грубому хлебу,  
И разминает широкое, мощное тулово,  
Бугристое словно корень.

– У островного чертяки свое чертово счастье,  
Лузит как бешеный, танцует на лезвии бритвы, –  
Смеются стрелки, коченея без дела,  
За известковыми глыбами укрытые от картечи.

И словно злое склочное воронье  
Обугленные щепы скачут по камням и глине.

Вот и утро. Еще одна ночь прошла.  
Стало теплеть. И с края лазури красный бутон  
Шлепнулся в воду и поплыл по реке.  
Это не кровь ли? Нет, это Солнце.  
Оно так близко, но попробуй-ка взять его в руки!

Солнце, большая червонная пряжка в лазури!  
К тебе все молитвы. Жарче пылай:  
Стрелкам твоей силой дай напитаться,  
Чадам Курземе из славного третьего полка.  
Город Слока уже в тылу, а теперь, на острове Гиблом,  
Третья встреча с лютейшим врагом.  
Дозорные перетаптываются на своих постах,  
Даже дула их винтовок чувят, что творится на той стороне.  
А там пока тишина. Лишь тянется вверх легкий дым:  
Фриц, должно быть, варит кофе-эрзац  
И щеки скоблит перед битвой.

Вдруг часовой из III-го взвода  
(Что у кладбища впритык со II-ым),  
Замечает там, средь кривых коротышек-сосен,  
Где солнышко огненной белкой играет,  
Кто-то ползет. Не иначе, германцы  
Крадутся в разведку. Дозорным каждая пядь  
Известна в том месте. Дамбис вечером вновь  
Ходы завалил там землю,  
Разбил вагончики и блиндажи,  
И трех немецких вояк послал к праотцам.

А место ведь проклято, как человек согрешивший!

*Перевел с латышского Алексей Герасимов*

## ИРИНА ЦЫГАЛЬСКАЯ

## ПРЕВРАЩЕНИЯ БААЛЯ

24 января 2011 года, не дожив нескольких месяцев до своего 75-летия, скончался известный рижский писатель Вольдемар Бааль.

Увидел древо познания; *ты не смерть ли моя?* Волей-неволей к нему прикоснулся; *да, я смерть твоя!* А принадлежал он, был – страстно, как мало кто, привязан к древу жизни.

Уже в свои ранние годы Вольдемар Бааль много и сосредоточенно думал о предстоящем переходе в это другое состояние. В один из периодов творчества воспринимал переход, как освобождение, и художественно сообщил об этом в рассказе, передав свое переживание герою – уходящему старику.

Бааль с любопытством воображал, как происходит превращение и что – *за*. Может быть, потому-то долгое время с увлечением работал в жанре фантастики, – чтобы попытаться изобразить другую ипостась; но это оказывалось невозможным, ни средств, ни сравнений и здесь не обнаруживалось.

На самом деле фантастика чужда Баалю. До увлечения ею он нередко говаривал: «Если кто-нибудь спросит, как я писал, скажи, что я был экспрессионистом».

Однажды сказал про Льва Толстого: «Как испугался, еще в детстве, предстоящей смерти, так с тех пор и страшился ее всю сознательную жизнь».

Но не страшился Толстой, а скорее – любопытствовал. Так понял с течением времени Вольдемар, разобравшись и в себе – вот в этом скорее любопытстве, чем страхе.

«Вот и конец. И – ничего!» – таковы были последние слова Толстого. Означавшие, как полагают иные исследователи, что ему так и не удалось удовлетворить свое любопытство.

«Но не начать ли с начала?»

В 1960 году в Латвии появился рыжий немец из Сибири Вольдемар Бааль» (взятое в кавычки здесь и далее – из статьи, написанной мною и опубликованной в честь 60-летия писателя в „Субботнем салоне“ русского варианта газеты „Диена“ от 13.07.1996 г. Текст Бааля внутри цитат выделен курсивом. – И.Ц.).

Он часто вспоминает, как в начале Второй Мировой там, в сибирской деревне, какая-то тетка, получив *похоронку*, схватила его, подвернувшегося под руку, за отвороты курточки и долго в исступлении

трясла мальчишку, завывая: «Фашист! Немчура проклятый!». Может быть, в тот раз Бааль впервые почувствовал, что – другой. Хотя внешне оставался прежним.

«Честь открытия молодого писателя, к тому времени – с 1962 года – студента заочного отделения Литературного института в Москве, принадлежит Мирдзе Кемпе. Бааль познакомился с известной поэтессой, которая работала тогда в Союзе писателей литературным консультантом, в 1964 году. [...] с ноября этого же года Вольдемар работает конструктором на радиозаводе Попова...

Не стоит перечислять, достаточно сказать, что трудовая биография у писателя не менее богата, чем жизнеописание, чем творческий путь. Он и учитель, и рабочий, матрос, кочегар – он в „гуще народной” – и все благословляет сегодня: узнавал людей, слушал голоса, наблюдал, вместе с ними жил – и переживал свою жизнь. С 1974 по 1983 годы работал консультантом-референтом по русской литературе в Союзе писателей Латвии – и оставил яркий след, повлиял – и продолжает влиять личными встречами, а также творчеством – на многих известных и не известных русских поэтов и писателей Латвии. Романист, рассказчик, эссеист – почти страница понадобилась бы лишь для голого перечисления написанного».

В девяностые годы Бааль не выпустил в свет ни одной книги. Но не потому, что растерялся в новые времена, увидев непригодность метода социалистического реализма, или как апологет советской действительности. Хотя эта действительность, конечно, отражалась в его творчестве, – другой не было. Как реалист он изображал эту жизнь богаче, шире и глубже, чем любая «действительность».

И еще вопрос, реалист ли В. Бааль.

*« – Во всяком художестве большое значение придаю интонации.*

Он начинал как поэт – и поэтическое мировидение, поэтические интонации сохраняются в произведениях прозы. Впрочем, если по-настоящему, то прозу и поэзию разделять не следует: и та, и другая – художественное Слово. [...]»

Разговоры о произведениях девяностых годов в то время все чаще происходят на презентациях неизданных книг. Был такой печальный цикл литературных вечеров, проходивших в 1995/96 годах в Доме-Музее Райниса и Аспазии в Риге...

Бааль немало рассказывал коллегам о своих мытарствах спецпеселенца, да и о других, связанных не только с биографией. Говорил о своих родителях.

*« – Происхожу из российских, давно обрусевших немцев. Родился 17 июля 1936 года в бывшей автономной республике немцев Поволжья,*

т. е., по-нынешнему, в Саратовской области, в городе Ровное (быв. Зелеман). Родители работали преподавателями в местном педагогическом училище.

Мать родом из Самары, из дворянской семьи (девичья фамилия – фон Гергенредер); дома у них говорили по-русски; чтобы постичь немецкий, была нанята приходящая учительница (для детей). Бабка Амалия Ивановна (в девичестве фон Блюм) была человеком сильного, даже сурового характера, чтילה и оберегала свою сословность. Рассказывали, что, когда в Германии пришел к власти Гитлер и наши газеты трубили об этом, Амалия Ивановна изрекла историческую фразу: «От этого босяка всем будет плохо, а нам – хуже всех». Так оно, помяни, Господи, ее, и случилось, к сожалению. Дед же, Федор Федорович (Фридрих Фридрихович) был, напротив, человеком мягким, мечтательным. После революции 1917 года выправил себе документы без «фонства», отдал (или продал?) два своих дома в Самаре и перебрался в Поволжье, где немцы тамошние жили кучно, ибо были отменены всякие сословия, а делать в революционной Самаре ему было нечего, да и небезопасно. Поселился в Поволжье в небольшом сельце Унтервальден (Подлесное ныне) и стал там аптекарем. Однако в 1938 году до него все же докопались, забрали и – сгинул в ГУЛАГе...

Со стороны отца я – чисто крестьянского происхождения: отец Иван Яковлевич и его родители – потомственные поволжские крестьяне-бедняки. В 1913 году дед Яков Георгиевич с семьей уехал в Германию – соблазнили уехавшие раньше родственники хорошей там работой, благосостоянием, приличным жильем. Однако ничего подобного не оказалось: дед стал нестабильным разнорабочим, часто вообще оставался без работы. Жили в Гамбурге. Моему отцу Ивану (Иоганну, разумеется) удалось тем не менее закончить гимназию; учился хорошо, пел благодаря музыкальным данным в церковном хоре. Германского подданства Яков Георгиевич так и не принял, остался россиянином. А в 1927 году, не вынеся мытарств и лишений, решил вернуться в Россию, домой. Отец поступил в пединститут в Энгельсе. У него были серьезные проблемы с русским, но он их худо-бедно преодолел. Студенчество его проходило тяжело, голодно и холодно.

В августе 1941 года, когда мне было 5 лет, а сестренке Инне – 3, нашу семью, в числе других русских немцев, выслали в Сибирь. Мы попали в Красноярский край, Тасеевский район, дер. Вахрушево. И таким образом стали спецпереселенцами... По достижении 16 лет надо было подписать бумагу, что без разрешения комендатуры – никуда ни шагу и проч., а при нарушении или уклонении от ежемесячной регистрации – 20 лет каторжных работ, это было выделено жирным шрифтом».



В конце 41-го, уже из Вахрушева, отца Бааля «мобилизовали» (через военкомат) в трудармию, на лесоповал – в Краслаг. Сестренка Инна умерла в январе 1946. Мать с января 1942 года – учительница биологии. Много работает, *«я почти не помню ее спящей: днем в школе, ночью – на швейной машинке: шила кальсоны и двупалые рукавицы „для фронта, для победы“, а также обшивала и местных, т. е., брала заказы. Мать была человеком интеллигентным, принципиальным, не признавала неряшливости, лености, разгильдяйства, неверности слову. В детях воспитывала скромность, достоинство, умение вести себя, разумно распорядиться собой и своим временем, трудолюбие и аккуратность во всем».*

Отец и мать воспитывали Вольдемара в духе следования порядку. Немецкому Ordnung'у, который превыше всего.

Заложенное семейным воспитанием стремление к рациональности сталкивается с российской безалаберностью. Открытостью к безграничной страсти: в любви, в литературном творчестве, в душевной беседе, в погоне за истиной – в неудержимом беге к древу познания. Которое означает смерть.

...По жизни, по воспитанию окружающей средой Бааль – сибиряк, россиянин. Даже имя «Вольдемар» записано в документах случайно.

*«– При рождении меня назвали Владимиром. Но поскольку дело происходило в немецкой Поволжской республике, то соответствующий буквоед-бюрократ (плюс немецкий „орднунг“) выписал метрику с переводом моего имени на немецкий. Так получился Вольдемар. К этому имени я долго не мог привыкнуть. В детстве я был Вовкой, школу закончил Владимиром, Владимиром же значился в спецкомендатуре [...] Все мои российские, особенно сибирские (да и многие местные) друзья и знакомые знают меня как Владимира. Под этим же именем принял и Крещение. И, когда в 1955 году спецпереселенчество закончилось и я, наконец, получил настоящий паспорт и увидел, что я – Вольдемар, меня точно ошпарили... В Латвии я с моим новоименем, звучащим здесь обычно, все же более-менее освоился. Но, как говорится... „что в имени тебе моем...“».*

В сибирском селении семью не выделяли, как чужеродную, – до того случая с получившей похоронку теткой.

Вольдемар, понятно, был поражен происшествием, недоумевал: он ведь считал себя советским мальчиком.

О том, что Бааль, уже будучи зрелым человеком, тайно принял православие, мы долго не знали.

*«– Крещение было принято мной абсолютно самостоятельно, сознательно, взросло и, конечно, тайно – столь личное и сокровенное*

*и не должно быть предметом созерцаемым и обсуждаемым, да и не могло им быть по тем временам. Даже родители не ведали о моем решении; отец узнал позднее и не испугался и не стал осуждать; матери уже не было».*

С течением своего времени он все реже руководствуется эмоциями, которые так часто в начале жизни одерживали верх над разумом.

В конце шестидесятых годов прошлого века с восторгом читает «Мастера и Маргариту» М.Булгакова, долгие годы находится в плену первого впечатления. Принимает и образ Воланда, по Булгакову – мудрого и симпатичного, порою – грустного – насмешника, занимающегося разоблачением людских пороков. Соглашается с Булгаковым, что сотворенный им Воланд, исчадие ада, вправе по-божески снисходительно относиться к людским страстишкам и карать за них смехом, не слишком злой издевочкой.

«Мастер и Маргарита» тогда для нас всех – захватывающее открытие, пусть и чуть запоздалое. Не слишком: многое из происходящего в окружающей реальности недалеко ушло от изображенной Булгаковым московской фантазографии.

В позднем своем эссе о «Мастере и Маргарите», опубликованном в 2000-е в журнале «Даугава», Бааль, не кривя душой, признается, что некогда эта вещь ему очень нравилась. Но теперь он уже не может ее принять, поскольку образ Воланда видится недопустимым с точки зрения христианства богохульством. Иной из нас удивляется. Задается вопросом: разве Вольдемар такой уж клерикал?

Тут нельзя не вспомнить, что внутренний мир его литературных героев отмечен постоянным брожением. Вечная борьба с собой. Безграничная амплитуда: от погружения в добродетель до воспевания порока.

По натуре Бааль остается иррационален, склонен к бесшабашности, а то и к разгулу. Но благодаря возвращенному стремлению к порядку старается корректировать свое поведение в сторону сдержанности. Коллеги таким его и знают: приветливым, организованным и строгим. Лишь немногие собеседники и друзья изредка видят... другого человека.

«Наверное, христианская вера Бааля причиной тому, что он всю жизнь сомневался в правильности избранного пути, в правомерности своих занятий литературой. Не грех ли это, не искушение, не соблазн ли?»

[...] Но жребий брошен, поиску Слова отдана уже вся сознательная жизнь. Бааль выдержал и проверку переломным временем, когда кое-кто откладывает перо в сторону и отворачивается от Музы.

[...] *„Парнас упразднен, – пишет он в начале девяностых в рассказе (или эссе) „Упраздненный Парнас”. – Во всяком случае, там – бессрочные вакации, как говорили в старину. Аполлон и его барышни переманены на шоу-подиум”.*

Увы – Парнас упразднен не только для служителей Муз. Парнас упразднен для всех – и всем остаются низменные страсти и плотские удовольствия. Таков сегодня выбор, сделанный обществом, предпочитающим не слышать голоса интеллигенции; это в истории не впервые.

*„Всё-всё от нищеты – и образ жизни, и образ мыслей, и поведение, и философия, и все прочее. А вот если бы ты был на коне, а все вокруг оставалось бы точно таким же, заметил бы ты ту старуху у мусорников?.. а оборвыша в троллейбусе, прячущегося от контролера за равнодушные спины?.. и многое-многое другое – заметил бы?..”*»

Вольдемар Бааль всегда был повернут лицом к людям. То же и в этом рассказе, чье действие происходит здесь и теперь, и где герой – писатель переживает ту же участь, что и большинство людей»...

**ЮРИЙ КАСЯНИЧ****БАЛЛАДА О БААЛЕ**

реквием-коллаж

Осень две тысячи десятого года уходила. Как и все другие – навсегда... Мы сидели с Вольдемаром в кухне его дома. Дому, что стоял почти на самой обочине разбитой глинистой дороги, было, кажется, лет двести. Этот дом он купил вместе с дочерью Викой. Толстенные стены из гранитных окатышей. Столетия назад крестьяне после каждой пахоты собирали эти окатыши на полях и складывали на меже. Однажды они пригодились для дома... Дом выглядел надежным. Вечным. Я подшучивал: «Ты – как Наф-Наф. Самый умный поросенок. Дом построил из камней...»

---

Как обычно, трепались о вечном, что мимо нас утекало. Осень рыжей косулей уходила через бежево-серое поле. *И казалось, что дуб облетевший, стоявший в открытке оконной рамы, с неизбывною жаждою жизни вцепился в набычившееся холодное небо, словно он пятернею корявой с грубоватой нежностью тискал там какую-то скрытую облаком поднебесную нимфу...*

---

Вольдемар говорил мне: «А знаешь, Юра, там в Стренчи я был на приеме у такой врачихи, знаешь, – и огонек сверкал в его глазах, – у меня там даже что-то шевельнулось... – и он хитровато опускал зрачки, и лицо его согрела улыбка. – И она на меня поглядывала... А ведь, и в самом деле, черт его знает, что еще может быть...»

---

Он позвонил мне летом, из больницы, куда попал-то, в общем, случайно. Плохое предчувствие клюнуло меня в грудь, как ослепшая чайка... Я приехал в легочно-туберкулезный центр, окруженный фильтром хвойных лесов, в Упеслеяс, если повернуть направо из Личи. Был

день его рождения, 17 июля. Мы отмечали его на траве. Пряно пахло распаренной сосной и чабрецом. Июльские луговые ароматы жужжали вокруг, словно шмели. Я усмехнулся тогда: «Почти Эдуард Мане, „Завтрак на траве”, но без дам.»

«А вот это – жаль», – заметил Вольдемар. Он еще не знал свой диагноз. Результаты анализов еще стекались к лечащему врачу.

Закуривая, он усмехнулся: «Пока не будут готовы анализы, она мне оставила выбор: туберкулез или рак. Знаешь, я думаю, у меня – второе...»

Поразительно – но знание практически не изменило Вольдемара.

Он не впал в панику.

Он не стал мизантропом.

Он не бросил курить.

Он не удалился в зимние пустоши пессимизма.

Кашлял он давно, и наверняка гадость в легких возникла не вчера.

Уже позднее написались стихи, которые начались, когда я думал о Вольдемаре:

*зимние пустоши пессимизма  
не для меня не для меня  
мне вспоминаются дни в Симеизе  
сладкий и колкий как лимонад  
воздух  
пропахший айвою самшитом  
жарят бычков на костре рыбаки  
воспоминание крепко пришито  
словно эмблема над сгибом руки*

—

Над Ригой плыла весна 1973 года. Верманский сад был Кировским парком – в нем оглушительно цвела сирень. Когда юность, все – экстремально, на котурнах... Сирень горела, как факелы. Ночей не было. На скамейках под эстрадой, у фонтана, фанаты рубились в шахматы. Дом Беняминов, который стал теперь отелем «Егора Royale», тогда был творческим Олимпом – в нем гнездились союзы писателей, художников и композиторов.

Пара львов на балконе второго этажа охраняли покой.

Я сам себе казался пугливым, диким, вчера лишь проданным в цирк львенком, которого начинают обучать прыжку сквозь горящий обруч.

Страх огня, соблазн прыжка в неведомое...

Огромная дубовая дверь, тяжеленная, с массивной ручкой, словно

вход в иной мир, портал, куда только по специальным пропускам... Редактор издательства «Лиесма» Людмила Азарова, которой я осмелился притащить свои первые тексты, стоя у окна третьего этажа, в своем кабинете напротив Оперы, легко взмахнув ладонью и мягко улыбнувшись мне, как пациенту, указала, что нужно идти туда. Начинать нужно там. В Союзе писателей. Там печка, от которой потом плясать... В литературе я плясал от Бааля.

---

Вольдемар Бааль – мэтр.

Ему тридцать семь.

Борода, трубка, мягкий обещающий бархатистый голос.

Он восседал, как шкипер в просторной каюте огромного корабля, который мерно плыл по внешне спокойным водам семидесятых, оглашаемых звоном трамвайных звонков вдоль улицы Кр. Барона.

Сценарий буйства советского народа по поводу Солженицына и Сахарова еще вызревал на сценарных курсах госбезопасности...

Вольдемар был чрезвычайно деликатен в профессии, в особенности в том, что касалось рукописей начинающих авторов. Холодея и вздрагивая, я внес, почти как свечу со трепещущим огоньком, эти свои листочки, впервые отпечатанные собственноручно (!) на взятой на два дня пишущей машинке. Он спокойно принял рукопись.

Мать честная, сколько их прошло через его руки за те годы консультантства! Пребывая тогда в состоянии, близком к прострации, я не запомнил отчетливо, как все проистекало, но, конечно, мы говорили о литературе, о пристрастиях, о необходимости читать.

Вольдемар умел спуститься навстречу по парадной лестнице, встречая неопфита.

Он умел быть мудрым царедворцем, невзначай отводить глаза, прятать усмешку в бороду, окутываться облаком дыма. По штату было положено. Он был толерантен уже тогда, когда об этом не задумывались даже на американской родине этой прилепившейся к нам хвори. Ах нет, при чем тут толерантность! Он просто был добрым человеком.

Роль мэтра, конечно, льстила ему, тешила самолюбие, и отказываться – то грех и глупо – ведь и заработок и реноме, и все-таки чаще она тяготила его, по природе своей он не был таким.

Его стихия – озерное утро на рыбалке или многословное молчание грибного леса...

Он говорил спокойно, уверенно, словно мы – почти коллеги. Он давал шанс освоиться...

Но две недели отсрочки, которые он дал, прошли мучительно.

—

Когда я вновь вошел в полумрак летнего кабинета, Вольдемар курил. Поздоровались. Он неторопливо выбил табак из трубки, потом так же неторопливо заполнил ее новым.

Ожидание приговора страшнее самого приговора.

По его ободряющему тону, я понял, что стихи – полная лажа.

В сущности, он не произнес ни одного слова, которое причинило бы прямую боль. Но мой камертон был настроен на полутона. Он понимал, что я пойму. Я понял. Я вдруг впервые увидел тексты иными – чужими! – глазами и мне открылось, что в них плохо. Последние минуты нашей встречи дались мне с трудом. Мне не сиделось, я ерзал, хотелось уйти, немедленно растерзать рукопись в клочья.

И начать писать заново...

Так он стал моим крестным отцом в литературе...

Потом он мне сказал: «Ты был странный. Ты выслушал. Ничего не сказал. Собрал бумажки, вежливо поблагодарил и ушел. И пропал на два года. Я тебя запомнил, а ты исчез... Я огорчился – не было похоже, что ты из тех, кто сдается...»

Не Гоголь, конечно, но я-таки растерзал свою первую рукопись в клочья...

—

Через два года я уже с меньшим волнением нажимал ручку дубовой входной двери.

Меня с моей следующей рукописью Бааль бросил в гладиаторский цирк литературной студии. Тогда там заправляли Владлен Дозорцев, Ольга Николаева, Владимир Френкель, Анатолий Цапенко. Пошли по текстам... В общем, Дозорцев был резок и зорок, Николаева укальвала и облаивала, Френкель негромко фыркал и тренькал, а Цапенко целился и потом цеплялся... Роли были сыграны с полной отдачей. Ребята порезвились на славу. Они сплясали на моей рукописи все модные и не очень танцы, они выловили многих «блех», они ткнули носом во все несурзности.

Они забыли только об одном – сказать несколько добрых слов, как это умел Вольдемар. Это было больно. И потому что они были правы. И

потому что просто – это было больно.

Думаю – через такое чистилище резонно пройти каждому молодому автору. Выплывет – годен!

При нынешней глобальной эпидемии толерантности много мусора и примесей проскальзывает, обходя фильтры... Поэтому-то и получаем мы вместо прозрачной воды горного ручья – взвесь равнинной реки, в которой больше химических и прочих сбросов, чем воды...

Тогда я – выжил. И потом, аккуратно выполов все сорняки, на которые они ополчились, понял, где и за что они могли похвалить...

Это был урок на всю жизнь.

—

В начале той – нашей последней – осени у нас была потрясающая – предпоследняя! – встреча. У меня выдалось свободное время, и я приехал навестить Бааля. Буквально вслед за мной на хутор «Робежниeki» приехал Николай Кашин (рижский поэт, 1952–2010, член Международной писательской организации АРІА, член Союза журналистов. Готовил к изданию свой первый сборник – *Прим. ред.*). Коля играл на гитаре, как бог.

Мы пели всю ночь.

Порою Вольдемар брал инструмент и пел свое любимое, ладя гитару под себя.

Сибирь вечно бродила в нем своей закваской, тяжелой, верной повадкой.

Он пел «По диким степям Забайкалья» – и легкий серебряный крестик стрекозкой высверкивал из разреза рубахи, когда он наклонялся над грифом гитары.

Это был наш Вудсток, это был наш внезапный грушинский фестиваль...

Для меня теперь эта ночь – острый кусачий костер воспоминания навсегда.

Время страшно летит – куда?

Убыстряется, как рекордный болид по дну соляного озера.

Время – болид, время – болит.

И мы летим, то и дело теряя кого-то или что-то, стгорая в плотных слоях окружающей среды.

И вот уже их обоих нет по эту сторону осени.

Их нет по эту сторону зимы.

Их обоих нет по эту сторону жизни.

Бродяга Байкал переехал...



—

После той песенной ночи Вольдемар попросил нас раздобыть для него проигрыватель. Ему захотелось музыки. В бренгульской тишине ему занудились голоса, дремавшие вдоль виниловых дорожек. «Знаешь, у меня здесь две большие коробки пластинок. Там такие голоса...»

Ему захотелось поговорить с итальянскими мастерами. Бенджамино Джильи, Марио дель Монако, Энрико Карузо, Марио Ланца... Я вспомнил, что у моей мамы стоял старый пластиночный проигрыватель, всем нам, с большим советским стажем, еще знакомый «Аккорд». Мама им не пользовалась и, конечно, позволила взять его для Вольдемара.

Вскоре подвернулась оказия – у Коли Кашина выдалась минутка, и он засобирался в «Робешники». Он позвонил мне, я завез ему проигрыватель в Рижскую классическую гимназию, где он учительствовал, и уже через сутки они вечерами вдвоем, под Колину гитарную магию и итальянские арии с пластинок.

Я по-хорошему завидовал им, но в тот раз вырваться не удалось. Да и кто же знал, что скорый поезд уже на повороте, за которым тоннель...

Потом мне пришло в голову, что это пластиночное увлечение Вольдемара, вероятно, в чем-то заменило ему посещение храма. Думаю, это были его молитвы, его исповеди, его раскаяния...

—

Осень – Господи, да кто же мог знать, что она – последняя? – утекала медленно и неотвратно, как песок в песочных часах. Тени за окном вытягивались на восток.

Мы слушали пластинку Жанны Бичевской. «Как на грозный Терек выгнали казаки, выгнали казаки сорок тысяч лошадей...»

Я вспоминаю...

Литфондовская квартира Веты Семеновы (жена Вольдемара Бааля, рижский прозаик, переводчик латышской прозы, литературный редактор, 1938–2001 – *Прим.ред.*) и Вольдемара Бааля на Блауманя, 29, была одним из центров притяжения в литературной галактике Риги.

Полюс.

Сюда, как магнитом, влекло пишущую братию: и опытных флибустьеров, и начинающих серферов... В этом доме царил какой-то

внезапная веселая, чуть ли не балетная легкость – почти на грани левитации.

Раскованность, свобода размышления, упоение в споре.

Как пушкинское «упоение в бою».

Это была невероятная смесь – какой-то карнавал, где литературу оттеняли живопись, музыка, медицина... Богема. И поклонение Вакху, куда ж без этого.

И «Пою тебе, бог Гименей...» можно было спеть часа в три ночи, не страшась потревожить соседей, поскольку квартира, будто последний троллейбус Окуджавы – по Москве, уже промчалась по рижским улицам, собрала всех потерпевших в ночи и улетела по-булгаковски в какие-то иные пространства, где были только мы.

Иногда казалось, что со стен и верхних книжных полок бесконечной библиотеки за нами наблюдают персонажики Босха и Дюрера, или нотр-дамские горгульи, выглядывая из-за флористических картинок, которые порою слагала Вета...

Читали стихи. Внезапно. Безбоязненно охваченные необходимостью чтения, как ознобом. Переполнившись каким-то взаимным восторгом.

Иногда вскакивая, пошатываясь, замирая в позе неустойчивого равновесия, отдаленно напоминая пикассовскую девочку на шаре...

Читали свое, читали чужое, любимое... Морщась, прищелкивали пальцами в местах забывшихся слов... Всклакивали к полкам – где? Посмотри вон там, на третьей, возле Монтеня... Искали томик, уточняли слово, читали снова, хором...

Далеко заполночь наступал момент, когда Вольдемар отставлял в сторону свои восхищенно-наставительные пассажи о Салтыке и Лескове, и говорил, шутливо грозя пальцем: «Все вы о Вознесенском да о Евтушенко... А вы знаете такого поэта? Николай Тряпкин! О!» В его системе Тряпкин стоял отдельной вершиной, как Монблан в Альпах.

Бааль ценил тряпкинскую исключительную верность русскому языку и разделял его известный скептицизм по поводу городской цивилизации как таковой. Вышедший из сибирской деревни, крепко державшийся за землю, Вольдемар тосковал в городе, как корень дерева, завернутый в асфальтовый кулек.

Впрочем, он никогда не сетовал.

Но где-то там, в пещере сердечной сумки, жила какая-то смутная ностальгия, которая иногда вспархивала, словно летучая мышь и

металась среди полок.  
И тогда среди ночи он читал:  
*Где-то есть космодромы...*  
*Где-то есть космодромы...*  
Грусть его была потаенной.

---

«Юра, как же так получилось, что ты не добрался до Алатовичей?»  
Алатовичи – деревня в Псковской области, которая стала одной из рижских легенд семидесятых-восемидесятых... «Где Бааль?» – в начале рижского лета кто-то несведущий задавал вопрос. «Как – где? В деревне!» – изумленно отвечал осведомленный...  
Вета привозила из деревни ведра соленых грибов, какие-то немислимые ветки растения, носившего дивное название – лунария, и восторги! «Юрка, ты не представляешь, это такие потрясающие люди!»  
Рассказы, рассказы, рассказы...  
В сырую и темную осень из творческой реанимации в квартиру на Блауманя возвращался Вольдемар. И снова – рассказы: рыбалка, грибалка. Блистательные зарисовки из жизни псковской глубинки. Мастерские удивительные портреты алатовичских старух.  
Баба Вера, у которой жила и столовался Вольдемар и его гости.  
Баба Нюра, ревновавшая к бабе Вере, у которой жил «писатель»...  
Теперь я и сам не понимаю, как получилось, что я не доехал до Алатовичей.  
Есть вещи и события, о которых жалеешь всю оставшуюся жизнь.

---

Мы слушали пластинку Жанны Бичевской.  
«Белые песни» – программа, которая в свое время – в конце восьмидесятых – всколыхнула многих.  
*«Уж нету отечества, нету уж веры, и кровью отмечен ненужный наш путь...»*

Голос умолк.

Мы посмотрели друг на друга, долго, не отводя зрачков, и я сказал:  
«Какое точное и страшное слово – ненужный...»

Его глаза сощурились, словно ветром под веко задуло песчинку, и в них мелькнула хмельная слеза.

Словно эхо, он повторил: «Ненужный...»

И он чуть сгорбил, словно боль куснула его изнутри.

Слово ударило.

Я оглянулся – мне показалось, что в темноту коридора только что ушла Вета с огромной охапкой укропа, почти как на той самой фотографии из Алатовичей, которая всегда стояла у Вольдемара на полке.

Эта черно-белая фотография стояла совсем рядышком с иконой и лампадкой, в которой по праздникам теплился оранжевый ноготок пламени, похожий на лепесток календулы.

Теперь в его пристрастии к итальянской опере ностальгически увиделась Вета. Это она призрачно помахала нам.

—  
Я делал левый поворот на перекрестке Спорта и Весетас, когда утром 24 января 2011 года мне позвонил муж Вики и сообщил, что Вольдемара не стало.

«Дикость какая-то», – подумал я.

Он ушел от нас в понедельник рано утром – словно на работу...

Стихотворение, которое я посвятил ему и собирался подарить при уже сговоренной встрече весной, теперь зазвучало, словно реквием. К посвящению, которое я впервые прочитал на поэтическом вечере 27 февраля, добавилось три слога: па-мя-ти...

## НА МАЯКЕ

*Памяти Вольдемара Баала*

на маяке я от прохожих скрылся  
где море примеряет голоса  
поморникам распахивает крылья  
как на пиратской шхуне паруса

нам в мире суши иссушает души  
мура гламура муть и маета  
однажды я забрел сюда по суше  
сквозь тьму узрев морзянку маяка

здесь лунна тишина и аномальна  
и как под лупой – пристальной – деталь  
и кажется уже – я понимаю  
пернатый неразборчивый диктант

смотритель приютил меня случайного  
седой как будто волны в октябре  
он молча нам заваривает чаю –  
на скудных скалах собранный чабрец

он говорит что мир – как в интернате  
малец безродный – от обид дрожит  
что сломан климат: ливни и торнадо  
повторного потопа миражи

хранит он прометееву повадку  
огонь – как воплощение доброты  
на свет он уповает, успевая  
зажечь лампаду, чтобы добрались

до порта корабли, минуя камни  
сминая бортом осьминожий мрак  
он вечером читает Мураками  
и зажигает по ночам маяк

он неприкаян – суфий или ангел?  
живет любви чураясь как монах  
ему скучны и табели и ранги  
он тот кто должен зажигать маяк

P.S.

нас рвут на части бицепсы амбиций  
живем, смакуя собственную желчь  
получится ли к истине пробиться?  
сумеет за него маяк зажечь?

смотрю на черные квадраты окон  
хочу я, чтоб стихи, как светляки  
летели в ночь навстречу одиноким –  
мгновенные спасенья маяки

—

Однажды мы «стояли рядом на пьедестале».  
Это был 1995 год. Российское посольство проводило конкурс

рассказов. Разумеется, на русском языке.

Незадолго до установленного срока, уже осенью, в те новейшие времена, когда творческие командировки в Алатовичи стали воспоминанием с калиново-горьким привкусом, мы сидели в его квартире на улице Аистов (Старкю).

Вета на старинном, выдавшем многое письменном столе составляла осеннюю икебану. В те времена под окном, за улицей Дзелзавас, перед корпусом фабрики «Анастасия», на которой до сих пор шьют одежду, был огромный пустырь, на котором росли огромные пучки золотарника. В золотисто-лимонные метелки она аккуратно вправляла ветки с оранжевыми брызгами рябины.

– Ты уже отправил рассказ на конкурс? – вкрадчиво спрашивал Вольдемар. И в его голосе даже звучали оттенки соперничества, что для меня было чрезвычайно лестно.

– Еще нет, – отвечал я. – Сомневаюсь, стоит ли.

Теперь я вспоминаю, и мне даже неловко – выглядит, как будто я тогда кокетничал. А ведь я и в самом деле не был уверен, стоил ли участвовать... Проза проросла из меня очень медленно, согласно какому-то своему и не ведомому мне сценарию.

– И не думай – непременно нужно участвовать. Вы, молодые, очень любите состязания.

Потом, позднее, при объявлении итогов, оказалось, что посольство признало лучшими пять рассказов, в том числе – рассказ Вольдемара и мой.

Эта премия в то совершенно безденежное время была словно подарок Санта Клауса накануне Рождества...

---

Каплица кладбища в Трикате была напрочь выстужена январем.

Казалось, внутри было еще холоднее, чем снаружи. Или это осознание того, что мы прощаемся навечно, наконец настигло меня и его холод охватывал плечи и спину.

Колко пахло хвоей. Как часто этот прощальный запах стал появляться в моей жизни!

Нас было мало. Тех, кто приехал проститься. Нас было четверо.

И хотя из Риги до Тервете – далековато, мне было стыдно за писательскую артель...

Раненой карею птицей из воротника шубы выглядывала Жанна Эзит (переводчик латышской прозы, редактор журнала «Даугава» с 1995 по 2006 год – *Прим. ред.*).

Набычась, по-морскому, словно его слегка покачивает, расставив ноги, стоял Владлен Дозорцев, как будто он только что с ревом подкатил сюда на мотоцикле своей юности.

Сергей Пичугин прощался со своим образом Вольдемара, который становился воспоминанием, и внимательно и вдумчиво следил за отправлением обряда, более нас других понимая, каким должен быть этот последний земной путь...

Да, еще Коля Кашин невидимо подглядывал в окна – ведь со времени прощания не прошло и сорока дней (Николай Кашин умер 18 декабря 2010 года)...

Мерзлый батюшка на пятой скорости отбубнил положенные тексты Евангелия, женщина в платке, накинутом так, что не различить лица, коченеющим голосом прорыдала в нужных местах, как почти что не настроенная одинокая скрипка.

На холодном бетоне, словно стусок запекшейся крови, лежала головка бордовой гвоздики.

—

В годы послеперестроечной не востребованности многое для многих рухнуло в одночасье, как Чернобыльская станция. Но в отличие от АЭС никто ничего не намеревался поправлять... Все бросились переводить Эрла Гарднера и Агату Кристи, в ход пошли пошлятинка, легкая литературная порнушка, матерок, блатнячок...

Например, в начале девяностых на прилавках можно было встретить такой хит, как «Х<sup>т</sup>ёвая книга», где все о нем – великом и ужасном...

Вольдемар выжил после взрыва. Но отбросило его далеко. Как в «Бриллиантовой руке»: «Очнулся – гипс...» Где я? – периферия:

Пурвциемс. В окне – бурьян, бродячие собаки... Писать в вышеперечисленном ключе он не умел и не хотел...

А потом... Потом наступило время какой-то отрицательной жизни. Дальше – нищета. Парафраз Шекспира.

Они с Ветой бедовали. Разовые случайные редактуры.

Изобретательный крой скудного пенсионного бюджета... Друзей, которые любили гостеприимный кров, стало меньше. Потому что не всегда было ловко идти с пустыми руками в безмолвно кричащий дом – уже в Пурвциемсе. И потому что кто-то любил нехитрую халявку в баалевско-семеновском быте, по-советски, до последнего закутка, всегда распахнутом для друзей. Отчаяние шуршало вдоль прокуренных стен и книжных полок, словно юркие гекконы. Лампадка перед иконой горела только по воскресеньям и в престольные

праздники – масло тоже стоило денег.

Они были пронзительно рады каждому появлению.

В июне 1996-го газета «Час» – был такой недолгий период, когда Вольдемар работал в редакции – напечатала очерк «Упраздненный Парнас». Автор назвал себя Владимир Бааль. Да, и в самом деле мы с ним нередко отмечали оба дня ангела – и Вольдемара, и Владимира... Но для меня он навсегда остался Вольдемаром.

«Наша жизнь стала странной – какой-то причудливой, словно из нее сделали театр абсурда. Живой, еще вчера ходивший на двух ногах (а не на четвереньках) литератор больше не вписывается в действительность. Говорилось некогда: сейте разумное, доброе, вечное. А как? Где он, сеятель-то?.. Да и семена явно подпорчены... [...] Парнас упразднен. Во всяком случае, там – бессрочные вакации, как говорили в старину. Аполлон и его барышни переманены на подиум...»

Сам собою напрашивается вопрос – изменилось ли что-нибудь за последние пятнадцать лет? Как писать, чтобы вписаться? И нужно ли писать *так*, чтобы вписаться?...

Журналистская всеядность, бесполость, скользкость, пофигизм терзали его душу. Он многому удивлялся, сетовал, сокрушался – как они так могут... Я уговаривал его быть равнодушнее, понимая и то, что ему там неважно и то, что ему там быть необходимо... Потом, словно опомнившись, он притормаживал: «Но ведь это заработок...» Я вздыхал про себя – ну, слава Богу.

—  
Вета ушла вечером 10 января 2001 года.

Эту страшную ночь мы провели вместе. Тогда мы жили недалеко друг от друга. Я не очень отчетливо помню, как я пробежал по скрипящему от мороза Пурвциемсу, мимо «Минска», мимо засыпающих зданий к их дому, после телефонного звонка, разорвавшего одиннадцатичасовую тишину... Нас было четверо: Вольдемар, Ветины дети – Геша и Юля, и я. Четверо живых. И Вета. Это была ночь боли.

Ночь слез. Есть ночи, когда седеют. Это была такая ночь.

Вольдемар, потерявший Вету, казалось, полностью утрачивал систему координат. Мир становился криволинейным, трансцендентным, агностическим... Нужно было быть рядом, что мне, естественно, удавалось не всегда в силу собственной занятости. Какое-то время жизнь катилась по инерции. Утрата порою заставляет человека собраться, напрячься. На какое-то время Вольдемару это удалось.



В июне 2002 года он вместе с Людмилой Азаровой, Сергеем Пичугиным и другими получил премию Раймонда Геркенса – за повесть «Червонный туз».

Удивительно, как-то случилось тогда, что я не прочитал ее сразу. В те годы было не до того.

Уже гораздо позже – в прошлом году, месяца за три до ухода Вольдемара – я совершенно случайно получил журнал «Даугава» за 2003 год. Мою просьбу исполнил добрый дух русской литературы, человек волшебного облика и замечательной ауры – Борис Равдин. Тогда я вцепился в журнал и узнал Вольдемара десятилетней давности. После миллениума редкий наш вечер, когда мы встречались, обходился без упоминания «Крейцеровой сонаты» Толстого. В «Червонном тузе» мне услышалось это эхо – Вольдемар писал, как странник, который после долгих скитаний по вязкому пространству, созданному «матерым человечием», вдруг остановился, словно очарованный зарницей, кометой...

Кажется, повесть была написана еще до ухода Веты.

—

Поминки медленно завяли, словно букет, что второпях воткнули в вазу без воды.

Сглотнув с комком, осевшим в горле, две рюмки водки, допустимых по промилле, я грустно сел за руль.

Пурга раскатывала вдоль дорог рулоны марли и бинтовала ближние леса.

Боль начиналась – будто отходила анестезия после ампутации.

Перформанс января за стеклами не утихал – неистовая белизна, как реквием, огромным парусником, кливерами, стакселями летела над ущербным миром.

—

По радио пел Денис Майданов: *«А знаешь, там не страшно. Я думаю не страшно... Ну как быть может страшно в стране наших снов? Там есть, конечно, солнце, оранжевое солнце, гуляет по проспектам больших городов. А мы сидим на крыше: кто выше, а кто ниже, друг друга обнимая мохнатым крылом. Взгрустнулось мне быть может, но думай о хорошем... Это всё потом...»*

Господи, песня-то про нас! Ведь мы так и жили в его последние рижские годы – друг друга обнимая мохнатым крылом...

---

Вольдемар нашел свой последний приют в тихом месте. Худые вышоченные старые липы, обшитые серым лишайником с северной стороны, вымахали до самого неба. Длинные и прямые, словно ракеты на старте.

Наверняка, здесь, в Трикате, красиво летом, подумал я. Укромно, покойно. Прощай, я обязательно приеду 17 июля, когда у тебя день рождения. Но тебе по эту сторону не исполнится 75, как мы планировали в прошлом году. Человек предполагает...

Быть может, почитаю тебе и кленам новые стихи... А может быть, кто-то из поэтов присоединится. Тогда почитаем больше... Только вот Серега Кольцов (Сергей Кольцов, 1949–2011, рижский поэт, вице-президент АРΙΑ; кавалер медали имени Франца Кафки. – *Прим. ред.*) уже не приедет (С. К. умер 9 мая). Впрочем, что я говорю, вы уже встретились...

На полке моей стоит подаренный тобой томик Николая Тряпкина. Знаешь, теперь, когда я иду уже по второй половине своего круга, я понимаю, что мне легко согласиться с тобой: ГДЕ-ТО есть космодромы...

PS.

Мы были в Трикате 17-го июля. С Жанной Эзит и родными. У Вольдемара – тихо. Сумрачно. Только самые настойчивые солнечные лучи пробиваются сквозь кольчугу листвы и яркими циркониевыми искрами подсвечивают капли росы, которые долго не испаряются здесь, в тени. Кладбище аккуратное, ухоженное, кусты подстрижены, дорожки прибраны. Почему-то сразу увиделись сдержанные, знавшие нелегкую жизнь, но полные светлой печали лица сельских старушек, в чуть полинявших или выстиранных платочках, которые приходят сюда заботиться об истории, служить памяти.

Длинный внук Сашка, казалось, еще больше вымахал со времени похорон. Его рыжая голова маячила где-то над нами на баскетбольной высоте...

Жанна вдруг показала в сторону куста:

– Юра, смотри, гриб! Он же так любил ходить по грибы!

Зеленовато-серая сыроежка. Пластинчатая...

Вольдемару больше нравились пластинчатые соленые грибы.

*Рига – Триката – Рига, лето 2011*

**БОРИС РАВДИН****Ю. И. АБЫЗОВУ – 90**

*Публикуемый ниже текст впервые был обнародован в 2001 г. (Даугава: № 6) под названием «Ю. И. Абызову – 80?». Юрий Иванович завершил свой земной путь в 2006 году. С небольшими изменениями, к годовщине со дня рождения Юрия Ивановича, воспроизводим здесь этот давний и откровенный панегирик.*

Вышло много книг, исследований, справочников, посвященных русской эмиграции.

В приложении к этим изданиям мы часто встречаемся с так наз. списком литературы по теме. И всюду в этих изданиях первым номером стоит «Абызов Юрий. Русское печатное слово в Латвии. 1917–1944. Биобиблиографический справочник. Тт. 1–4. Стенфорд. 1990–1991».

И это не только по законам алфавита, не только формально, но еще и потому, что этот справочник – один из первых и основных в истории изучения русской эмиграции, которой, кроме житейских и прочих трудностей, выпала ответственность не только жить, но и представлять за пределами России русскую культуру. Справочник Юрия Ивановича – работа, которая содержит ключ к тысячам страниц русских газет и журналов, издававшихся в Риге, в Латвии между войнами. А на этих страницах кого только не было, кто только не печатался, кого только не перепечатывали в Риге в те годы: Бунин, Куприн, Шмелев, Цветаева, Бердяев, Булгаков и многие, многие важнейшие для русской культуры имена. И труд Ю. И. Абызова вводил прозу, поэзию, статьи, эссе, критику и публицистику этих авторов в культурный обиход. А сколько рижских имен и сюжетов вернулось к жизни благодаря этому справочнику. Огромная работа, огромное дело.

Обратите внимание на год издания этого справочника. 1990–1991. То есть едва возникла возможность печатать такого рода книги, а четыре тома уже готовы и выходят. Как так, откуда взялись, когда были подготовлены? И тут выясняется, что подготовлены давно, когда и мысли не могло быть о том, что такого рода книги могут быть легально изданы. Я как-то спросил Юрия Ивановича: «На что же вы надеялись, когда много лет работали над этим справочником, без перспективы его издания?» – «А ни на что я не надеялся, – ответил Юрий Иванович, – я просто знал, что такая книга должна быть, вот я ее и делал. Это бы-

ла, что ли, форма моего внимания к культуре, форма моего уважения к ней».

Как-то я зашел к Юрию Ивановичу в ЛОРК, Латвийское общество русской культуры, председателем которого он являлся более 15 лет. «Взгляните-ка вон на те папочки», – предложил мне Юрий Иванович. Смотрю – вырезки, которые Юрий Иванович собирал еще до войны. Вот еще когда все началось! А где? В небольшом уральском городке Алапаевске, известном по расстрелам в Гражданскую войну великих князей. Алапаевск. Урал – это ведь еще и инженеры, путейцы – тогда публика читающая, тогда соль земли русской. Сколько книг было в этом провинциальном Алапаевске!

Тут, может быть, стоит назвать одну из статей Юрия Ивановича – «Провинциальность или маргинальность?», – которая имеет отношение не только к русской провинции, но и к русской Прибалтике, где Юрий Иванович, обосновавшись после войны в Риге, нашел депозитарий русской культуры, той, которая в значительной степени была сметена революцией в Советской России. Пришел, увидел – и стал копать. А еще читал лекции в пединституте, редактировал, переводил – с латышского, польского, английского, в конце 80-х пару лет присматривался к себе как к общественному деятелю. Был и оставался сторонником права народов и стран на независимость, хоть и был убежден, что границы – вещь условная, что мост между странами и народами – это культура. Но никого на этот мост силком не загонял. Есть силы идти по этому мосту – иди, нет сил – что ж тут поделаешь.

А сам, шутя и распевая, свободно разгуливал по этому мосту, хоть и сокрушался иногда, что попутчиков все же маловато, могло быть на одного-двух больше. И берег главные силы для статей, книг, переводов, собрания библиотеки Латвийского общества русской культуры, для сохранения общества. Здесь ему помогали и немногочисленные добровольные помощники, и, конечно, Нина Ивановна Абызова, не только жена Юрия Ивановича, но и его ангел-хранитель. А в издательском деле велика заслуга Стенфордского университета (США), серии *Stanford Slavic Studies*, где под двумя заглавиями вышло девять томов, составленных Ю. Абызовым собственноручно или на паях с коллегами.

Давно, к своему 75-летию, Юрий Иванович дал интервью, напечатанное в журнале (Даугава). Он говорил о том, что хотел бы увидеть опубликованным второй том подготовленного им сборника «От Лифляндии к Латвии», хотел бы увидеть изданными еще несколько томов затеянного им с коллегами из Эстонии и Литвы исторического сборника «Балтийский архив», хотел бы подержать в руках пятитомник «Русская печать в Риге. Из истории газеты «Сегодня», который он готовил

тогда вместе с профессором Л. Флейшманом из Стенфордского университета и вашим покорным слугой, мечтал о книге «В кругу себя», где собран Давид Самойлов «в халате», в том числе и часть «домашней», литературно-дружеской переписки Ю. И. с Давидом Самойловым. Туда входили и стихи, когда-то написанные Самойловым ко дню рождения Ю. И.: «Давай с тобой тринкен, / Абызов, милый друг... / В кругу, не очень шумном, / За славную едой, / Поговорим об умном, / Товарищ мой седой».

Так вот. Все исполнилось. Все намеченное тогда – сделано, издано, все вошло и входит в культурный обиход. А еще и сверх того: двухтомная роспись известной межвоенной газеты «Сегодня», изданная Национальной библиотекой Латвии, историко-библиографический очерк «А издавалось это в Риге» (М.: Русский путь, 2006). Как любил говорить Юрий Иванович: «Курочка по зернышку амбар склевала».

Но не все амбары еще склеваны. Не все. Так что за работу, наследники, почитатели и продолжатели трудов Юрия Ивановича! За работу!

## ИЛЬЯ АСАЕВ

## БЛАЖЕН, КТО ВЕРИТ В МАРТ ЗА ФЕВРАЛЕМ

Поэт. 1964–1993

Илья Асаев провел на земле почти тридцать лет. Пришел в 1964 году в Москве, большую часть времени был связан с Днепропетровском, в конце 1980-х – начале 1990-х остановился в Риге, последние годы делил между Ригой и Днепропетровском, где в 1993 году принял решение уйти.

Тогда, в 1993, он, как мы понимаем, не уходил, он возвращался туда, откуда когда-то пришел. Пришел, посмотрел, оставил стихи на память и вернулся. Не будем печалиться. Скажем «спасибо!».

Когда встречаешься с очевидностью, рот слегка приоткрывается и на несколько мгновений застывает. Очевидность не нуждается в словесных определениях, толкованиях. По крайней мере, не нуждается при первом столкновении. Не исключаем, что при встрече со стихами Ильи Асаева кого-то из читателей на том или другом стихе, на той или иной строфе, строке настигнет, остановит, а м. б. даже поразит молчание. Потом – при необходимости, можно попытаться понять, что заставило нас отделить верхнюю губу от нижней? И задать себе ряд простейших вопросов: кто, что? кого, чего? кому, чему? кого, что? кем, чем? о ком, о чем? Зачем?

В 2009 в Екатеринбурге в изд-ве «Уральский меридиан» друзьями Ильи Асаева был издан небольшой сборник его стихов «Имущество природы».

Стихи поэта собирает и хранит его мать, Л. Ф. Асаева. Благодарим Любовь Федоровну за возможность увидеть стихи ее сына.

Б.Р.

*Латвийское общество русской культуры и «Рижский альманах» готовят к изданию сборник стихов Ильи Асаева.*

*Приглашаем к материальному участию в издании сборника.*

*Наш расчетный счет: LV24LATB0006010004245 –LATBLV22.*

*LATVIJAS KRIEVU KULTŪRAS BIEDRĪBA:*

*Rīga-69, Antikristiņš bulv., 29; рег. номер: 40008002194.*

*По вопросам издания сборника просим обращаться по адресу:*

*raudin@mailbox.riga.lv.*

20 февраля 1990

Не зима. Подражание. Сплю много.  
Не погода – бесхвостый павлин.  
Ты, какой-нибудь Бог, – ради Бога:  
– Снега!.. Смерти!.. Старенья!.. Любви!..

Эта Рига дурачит морозы  
Балтиморским акцентом своим.  
И зима – пациент под гипнозом  
Завернула католиков в дым.

В дым. И в Д.О.М., то есть в обморок Дома.  
Костяным Себастьяновым лбом.  
Прошибая Гоморры, Содомы...  
*Deo, Optimo, Maximo... D.O.M.*

В мыло вечера – шаг из подъезда  
Уронил – и навеки пропал.  
Лишь «бултых» – из туманного теста...  
Вроде жив... но никто не видал.

О! Предмартовской осени серость...  
Скоро лето! Подайте грачей!!!  
Или яду! – за зимнюю ересь!  
И оркестр Больших скрипачей...

О, мои племенные рижанки –  
Крутобедрые храмы Петра!  
Вам цыганская ярость цыганки  
Неизвестна, как Богу – «Ура!».

М а р т в Р и г е

Когда весна на что-то давит  
И с явью путаются сны,  
Когда уже не убеждает  
Недосягаемость луны

В ее невинности девичьей;  
Слетят, как млечная труха,

На свод покатый, черепичный  
Послы всевышнего греха.

Им, в этом мире, ночь – посольство.  
И, заломив к луне хребты,  
Они проткнут хвостами толстый  
И жирный купол темноты.

Экстазом творческой напасти;  
Гортанным смехом Сатаны,  
На крышах – проявленья страсти  
Котов – одухотворены.

«Навстречу Северной Авроре»  
Кадит их а-капельный вой.  
Здесь и миноры – не в миноре,  
И постовой – не постовой,

Когда в космические дали  
До безобразной красоты  
Врезают нотные спирали  
Их демонические рты.

В каких словесных минералах  
Нам слог Эроса ни ваять,  
Но в этих скрюченных хоралах  
Двуногим не расшифровать

Ни толстым разумом, ни телом  
Кошачьей ревности язык.  
Где даже бешеный Отелло –  
Довольно средний ученик.

И вот, когда лакает зреньё  
Безумный опиум луны;  
Когда сомненье – преступленье,  
И все немного влюблены, –

Мы проклянем свое отличие  
От этой дикой правды крыш.  
С тоскливой завистью мурлыча:  
«Сияла ночь... Шумел камыш...».



## Полуода городу Риге

Самый отъявленный вечер закончится кратким  
«Доброй вам ночи». А утром означится день.  
И расплзется по старческим уличным складкам,  
Словно по мягкому телу прекрасная лень.

Город. Железо. Дома. И под небом искусство...  
Из-за причастности к морю – бесспорный моряк.  
Полустолица свободы и спившихся русских,  
В каменных легких хранящая сладкий сквозняк.

Что ты для всех?.. С твердой внешностью – дутый помещик?!  
Или – помещица – сказка с холодных морей?!  
Что твоим людям в тебе?.. Разве – гордая вечность  
Или тщеславная радость причастности к ней?!

Возраст тебе не сулит ни надбавок, ни выслуг.  
Только затем, что их люди тебе не простят...  
Я бы, как ты – отказался от всякого смысла,  
Чтоб навсегда потеряться в лесах и морях!

Море, единственный стражник подводной квартиры,  
Где только мокрое счастье укутаться в ил...  
Где, как в дома, забираясь в пустые мундиры,  
Крабы похожи на тех, кто их прежде носил.

– Господи! Вечный кудесник любви и терпенья...  
Мне с каждым часом и смысл, и лик твой ясней.  
Не потому ли со дня твоего Воскресенья  
Жить на земле на две тысячи лет тяжелей?..  
Жить на земле твоей с каждой минутой трудней.

Из февральских упражнений 1990 года

*К. Патрушеву*

Пришла зима. Чего б ей не прийти?..  
Тем боле, что февраль, а не сентябрь  
Идет на спад... И снежный ком в горсти –  
Свидетельство, что с Космосом *viss labi!*

Но здесь не космос, здесь свой быт и нрав.  
Здесь все свое: луна, язык и речи;  
Здесь «Добрый вечер» хочет в ресторан.  
Но то – насколько добрым будет вечер, –

К примеру: не пошлют ли на... Парнас;  
Дадут ли к чаю водки, к мясу сахар, –  
Определит запас дежурных фраз,  
Который начинается с *lavvakar*.

Поэтому – незнающим язык  
И знающим язык, но не рекущим  
На нем – надежней молча зрить пикник  
Разрухи нравов. И не о насущном

Мечтать: как-то – о выпивке вдвоем  
В уютном уголке «Lido» в ненастье, –  
О чем-нибудь попроще – ни о чем...  
Или о Боге – это безопасней,

Чем обличать маразм в чужих властях  
И оскорблять акцентом диктатуру  
(Что запросто бывает в тех краях,  
Где агрессивно бдят свою культуру).

Итак, по слову Бродского, – зима.  
Здесь на поэта можно положиться,  
В одну из них он не сошел с ума,  
(Что до сих пор никак не совершится.)

Итак: зима... Тоска по вышине.  
Тоска по смерти, вовремя не спетой.  
Тоска по слову, пришлому извне,  
Когда не врут библейские поэты.

Когда б вы знали, из каких стихов  
В предсердье крепнет бдительность минора,  
И души, переносчики грехов,  
Спешат укрыться в готике собора.

Спешат к Нему, – за много-много лет  
Отчаявшись, что жизнь не находила

Того, чего, возможно, в жизни нет, –  
Утешиться хотя бы тем, что было.

Блажен, кто верит в март за февралем.  
Блажен и тот, кто вглядываясь в это  
Искусство снега, склонен видеть в нем  
Не скучные осадки, но поэта.

Чья основная миссия – уют...  
И дворники (рокфеллеры на шару!)  
Свое добро лопатами гребут.  
Чтоб после обменять его на тару.

Из коей змий отправится в поход  
На печень и затеет бой за место.  
И печень сдаст... А дворник все гребет.  
И сквозь февраль, из черного подъезда

На снег устало смотрит человек,  
Свершая городской обряд куренья.  
И, кажется, что он считает снег  
Достойнейшим препятствием для зренья.

И, кажется, что весь небесный свод  
Смыкается у крыш в единый конус.  
И, человек – качни его вперед, –  
Качнется не во двор, а прямо в космос,

Не обрывая начатую мысль  
С немим непротивленьем Агасфера.  
И не заметит, как ушлыли вниз  
Торосы крыш, огни, ионосфера,

Обросшая цитатами луна;  
И спутники в болванчиковом бденье  
Границ земли; и сверстница-жена,  
И та – кто мимолетное виденье.

И вдруг, стряхнув задумчивость, узрит  
Существенные, в общем, измененья  
В пейзаже и впервые ощутит  
Отсутствие земного притяженья.

И что вокруг – ни готики; ни тех,  
Кто был вокруг: ни дворников вчерашних.  
Что он один – в наброшенном поверх  
Трико пальто и в тапочках домашних.

Меж андромед, персеев и китов  
Нелепая молекула в одежде  
Плывет в свое далекое Ничто!  
С такую же нелепою надеждой.

И сам себе не может объяснить  
Всей чехарды создавшейся проблемы,  
Что оказался, выйдя покурить,  
Намного дальше Солнечной системы.

П р и х о д   С н е ж н о й   К о р о л е в ы

Настроение сказок и сна.  
Воздух в дырочках снега и тьмы.  
Город вмерз в крестовину окна.  
Город схвачен в засаду зимы.

Еретический ход Рождества  
В арестованных веком глазах.  
Всякой сказке, опричь волшебства,  
Нужен бред и, немножечко, страх.

Глухо скрипнет настил за спиной, –  
Это страх на часах начеку...  
И, пригретая щедрой стеной,  
Тень себя накренил к ночнику...

И, как дьякон за пенъем молитв,  
Всё стихи в темноте бормотать...  
А еще заколдованный ритм  
Отбивать, чтобы это понять...

Морфий снега – как пульс, как укол!  
Ужас ночи – восторг и покой!..  
Счастье Баха – в припадке смычков...  
Цель прощанья: движенье рукой.

Черный скрип постовых фонарей.  
И – глухие, как своды тюрьмы,  
Декабри поглощают людей...  
В этом тайна и смысл зимы.

В криминальной наклонности чувств;  
В перекрестках ревнивых смычков!  
Но сильнее всех этих искусств  
Гипнотический цокот подков...

Как навязчивый гул саранчи  
Он – растет, чугунее в висках.  
О, ужасное счастье – в ночи  
Закружиться, в снегах и в смычках!..

Вот и здесь – данник бреда и сну, –  
Глядя в космос, как рыба со дна,  
Лишь Она прислонится к окну,  
Я к Ней молча шагну из окна.

Храп коней. Свист скользящих саней.  
И теперь – не молись, не моргай! –  
Все слышней... Все теплей и ясней  
Ледяное, прозрачное: «Кай!»

Мне теперь – только к Ней и за Ней!  
Остальная любовь – не всерьез.  
Разве может быть что-то сильней,  
Чем ее королевский засос!

Балаганная белая тьма  
В одинокой, как старость, стране...  
Чтоб сейчас не лишиться ума,  
Нужно быть сумасшедшим вдвойне!

Хрустнут льдинки в остывшей крови...  
И меня – не зови! Не зови!!!  
Самый главный поступок в любви –  
Обезуметь от этой любви!!!

Бутафория жизни, отчизн  
За студеным декабрьским окном.

Не спеши горевать, если жизнь  
После смерти покажется сном.

Во Вселенной растает окно...  
Мне к нему не лететь, не бежать...  
Ничего потерять не дано,  
Если нечего в жизни терять...

Только – Герда?!  
(Но в снежный песок.)  
Только Герда!..  
(Несется такси...)  
Только Герда!..  
(Под сердцем ледок...)  
Только, Герда! – прости  
и... спаси!

## ОТЪЕЗД КАЯ

Мчатся сани в кавычках домов,  
В запятых пограничных столбов.  
Рвутся струны гульбы и стрельбы  
То внутри, то снаружи судьбы.  
И природа плывет, как река,  
Вдоль заснеженной кромки виска.  
И держава встает, как Кошей,  
Чертежами дорог и полей.

А вокруг веселятся мальцы,  
Вырезают из снега дворцы.  
А вокруг веселятся друзья.  
А полозья скользят и, скользя,  
Улетают в небесную твердь.  
Так торопится детство созреть,  
Забывая себя вдалеке,  
Чтобы дале бежать налегке.

Мчится жизнь в фейерверковой тьме  
С пассажиром на мерзлой корме.  
Так, смеясь, убегают года;  
Так, по-детски обидно всегда

Выбывать из любимой игры  
Под беспечный трезвон детворы.  
И при этом, скроив удалца  
Повзрослевшей природой лица,  
В неизбежность свою уходя, –  
Между прочим, смеясь и шутя, –  
«До свиданья» отдать, как на чай,  
Когда в легких застряло «Прощай».

И з ц и к л а « С к а з к и »

### МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

Не потому, – что все «не Так»,  
Не потому, – что «Так» не будет.  
И в многоточье наших судеб  
Лишь смерть надежнейший маяк;

Я не в пруду и не в петле  
Не потому, что где-то нужен.  
И не затем, что с кем-то дружен,  
Трясу костями по земле.

Не потому, – что за черту  
Смотрю, как розовый романтик.  
А потому, – что, как лунатик,  
В окно за звездами иду.

И наяву, а не в бреду  
Я в полночь бегаю по крышам,  
И голоса родные слышу,  
И руки на небо кладу.

---

*Прим. сост.: D.O.M. – Deo, Optimo, Maximo – Высшему, Лучшему, Богу (лат.);  
Дом – Doms (латыш.) – имеется в виду Домская церковь в Риге;  
viss labi! – все хорошо, labvakar – добрый вечер (латыш.);  
«Lido» – сеть ресторанов в Риге.*

ЯНИС ЗАЛИТИС

## НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ АСТАПОВО ОЗОЛИН

Более ста лет назад, 28 ноября 1910 года (по старому стилю), в Ясной Поляне произошло событие, которое потрясло весь мир. Восемьдесятдвухлетний писатель граф Лев Николаевич Толстой ночью тайно бежал из своего дома в неизвестном направлении. Обстоятельства ухода великого старца, «Астаповская неделя» – драматический финал жизни Толстого – всесторонне и подробно освещена во многих литературоведческих и беллетристических исследованиях, в мемуарной литературе, в воспоминаниях детей, близких, друзей, врачей писателя. Появление Толстого, недолгий разговор с писателем становится для начальника станции Астапово Ивана Ивановича Озолина (1873 – 1913) точкой отсчета новой жизни. Он уходит из дома, а спустя несколько месяцев покидает станцию – жизнь в одной из больниц, как бы прислушиваясь к совету Толстого: «Бежать!»

Перед глазами невольно проходит картинка, нарисованная в «записной книжке» писателя Юрия Олеши: «Начальника станции, в комнате и на постели которого умер Лев Толстой, звали Озолин. Он после того, что случилось, стал толстовцем, потом застрелился. Какая поразительная судьба! Представьте себе: вы спокойно живете в своем доме, в кругу семьи, заняты своим делом, не готовитесь ни к каким особенным событиям – и вдруг в один прекрасный день к вам ни с того ни с сего входит Лев Толстой – с палкой, в армяке, входит автор „Войны и мира“, ложится на вашу кровать и через несколько дней умирает на ней. Есть с чего сбиться с пути и застрелиться».

...В те осенние дни в Астапово съехалось множество народу – родственники, знакомые Толстого, жандармы, корреспонденты русских и зарубежных газет. По выражению журналистов, на это время эта стан-



ция стала центром мира. А центром Астапова стал местный телеграф, на нескольких служащих которого навалилась огромная нагрузка. Ежедневно они принимали и отправляли более 1500 (!) телеграмм.

Начальник станции Астапово Озолин, естественно, всю неделю в центре бурных событий. Управляющий Рязанско-Уральской железной дорогой Матренинский присваивает Ивану Ивановичу особые полномочия. Он знает, что на Озолина можно положиться. Именно при нем Ивана Ивановича в 1909 году переводят с повышением из Сердобска на крупную узловую станцию Астапово.

«Начальник станции Иван Иванович Озолин, милейший человек, помощь, доброту и сердечную отзывчивость которого я никогда не забуду, все время между своими служебными обязанностями помогал нам, – пишет дочь писателя Александра. – Человек этот, по-видимому, и раньше чтивший моего отца, успел за эти несколько часов совершенно войти в наше положение и был рад помочь, чем только мог».

Не удивительно, что Озолина, как источник ценной информации, непрерывно атакуют журналисты.

Внимательно следят за астаповскими событиями и латышские газеты. Одна из них позже напишет, что Озолин передавал ей информацию о пребывании Толстого на русском языке. Не с его ли подачи в публикации газеты «Dzimtenes vēstnesis» («Вестник Родины») обнаруживается неизвестный факт: «Старший помощник начальника станции Астапово тоже латыш – Эдуард Пидриксон?»

«Он с утра до вечера работал, действовал, – пишет об Озолине биограф писателя Петр Сергеевко в „Русских ведомостях“. – Иногда у него сдавали нервы, и он начинал плакать. Узнав, что стало хуже, сказал: „Нет, этого я не могу допустить, чтобы у меня в доме умер Лев Толстой“. Таким, с обнаженными нервами, мне показался Озолин».

Вернувшись после похорон Толстого в Астапово, Озолин сразу же объявил, что комната, в которой умер Толстой, им заниматься не будет, а со всей обстановкой сохранится как мемориальная.

В «астаповские дни» и позже Озолин получил много писем и телеграмм со всех концов России и от лиц разных сословий с выражением благодарности «за Толстого». 15 ноября 1910 года датировано малоизвестное письмо вдовы писателя Софьи Андреевны: «С благодарностью вспоминаем Ваше сердечное участие и помощь во время нашего скорбного события. Благодарим и супругу Вашу».

16 ноября в печати появилась – с просьбой ко всем газетам перепечатать – благодарность семьи писателя (Софьи Андреевны, дочерей Александры и Татьяны, сыновей Сергея, Ильи, Льва, Андрея, Михаила) всем, кто оказывал помощь при жизни и выразил сочувствие по поводу

смерти Толстого, в том числе и персоналу Рязано-Уральской железной дороги и лично Ивану Ивановичу Озолину, который «позволил Льву Николаевичу занять свою квартиру». В Латвии об этом сообщала газета «Латвия», а в «Дзимтенес вестнесис» 11 ноября писали, что Озолин отказался от вознаграждения, которое предложила ему семья Толстого.

Следует заметить, что Озолин не отличался хорошим здоровьем. Известно, что еще в июне 1906 года, то есть в возрасте 33 лет, в Сердобске он составил домашнее завещание на свое имущество в пользу жены Анны Филипповны.

В Астапове Иван Иванович заболел внезапно. Инсульт, или «удар», произошел у него в служебном кабинете на вокзале: были парализованы конечности, и он лишился речи. Анна Филипповна повезла мужа на лечение в Москву, взяв с собой грудного малыша Льва. Остальные дети остались дома под присмотром матери Ивана Ивановича, срочно вызванной из Саратова, и няни Марфуши.

В Москве при содействии Толстых Озолина удалось поместить в Пироговскую больницу, где он пролежал два или три месяца. Состояние Ивана Ивановича улучшилось, но речь полностью к нему так и не вернулась, он мог только повторять сказанное другими. О работе не могло быть и речи...

Вскоре Анне Филипповне предложили перейти в двухкомнатную квартиру в другом доме. Она отказалась, но просила помочь ей с переездом в Саратов, где жили ее сестра, а также мать и сестра мужа.

Переезд состоялся осенью 1912 года. Только небольшая часть скромного имущества Озолиных была перевезена в Саратов, в том числе – большой сундук с книгами. В нем, в частности, хранилось Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого с дарственной надписью и подписью: «Графиня Софья Андреевна Толстая». Сохранилось и письмо Озолина от 2 сентября 1911 года, которое начинается со слов: «Глубокую благодарность шлю Вам за высланные мне сочинения Льва Николаевича, надеюсь сохранить их для своих детей на память о великом писателе».

...В рижской газете «Дзимтенес вестнесис» 22 ноября 1912 года опубликована статья «Трагизм жизни». Ее автор – Янис Пенгеротс – известный специалист по садоводству, менее известный, но весьма плодовитый и своеобразный литератор.

Писательскую деятельность Пенгеротс начал как переводчик с русского и немецкого языков, он написал и целый ряд оригинальных произведений под разными псевдонимами, самый популярный из них – Svešais (Чужой). Он (под псевдонимом Илгварс Зайгонис) был автором и составителем сборника местных латышских литераторов «Отзву-

ки волжских берегов» («Volgas krastu atbalsis»), изданном в 1908 году в Саратове.

В 1921 году Янис Пенгеротс вернулся в Латвию. Сын писателя Висвалдис – известный искусствовед, жена Маде – прототип образа Кристины в произведениях Рудольфа Блауманиса.

Публикация Яниса Пенгеротса – единственное известное нам свидетельство о последнем, саратовском, периоде Озолина: «...Прошло только два года с тех пор, два коротких года, и этот милосердный самаритянин сам лежит в Саратове на смертном одре... Вокруг него только его супруга, старая мать и стайка малолетних детей, которые всячески стараются облегчить его страдания... Еще несколько дней, и его тоже не станет.

В воскресенье, 18 ноября, мы с супругой отправились на его поиски и отыскиали почти на окраине города в небольшом двухэтажном деревянном домике на втором этаже. Обстановка довольно скромная, но везде очень чисто. На стенах фотографии – Л. Толстого, его могилы и др. Сам Я. Озолин лежит в постели бледный, худой, утомленный, довольно длинная черная борода и черные волосы делают его лицо еще бледнее.

„Жан, ты узнаешь? Земляки пришли тебя навестить”, – спрашивает его супруга. Он долго в нас всматривается и потом шепчет, вроде: „Не узнаю”. Но потом, кажется, собрав всю силу воли, он с большим усилием выдыхает тихое, но достаточно отчетливое: „Ich bin auch Lette!” („Я тоже латыш!”), и будто бы улыбка проскользнула по желтому лицу.

Тут надо упомянуть, что господин Озолин, ранее проживая в Саратове, женился на саратовской немке, поэтому разговорный язык в семье немецкий. А его мать, хоть она уже 45 лет как уехала из Риги, по-латышски говорит совершенно ясно, и сам больной также никогда не забывал о своем латышском происхождении.

Положение страдальца таково, что видно, что он еще многое понимает из того, что ему говорят, но сам что-то ответить не в состоянии, и только приложив всю свою волю, выдыхает отдельные слова. По словам госпожи Озолиной, страдалец очень мягкой, нежной природы человек, добрый к людям. Нервозность стала появляться пару лет назад, пока в этом году весной вдруг не перешла в прогрессивный паралич мозга. Если так, то можно предположить, что трагедия конца жизни великого Толстого способствовала потрясению души чувствительного Озолина и таким образом превратилась в трагизм его собственной жизни.

Когда, прощаясь, я пожал руку несчастного и, желая ему „всего доброго”, сказал „uz redzēšanos”, он долго в меня всматривался, медленно повернул голову и пытался что-то выговорить, но слова не шли с его губ...»

Эту статью, опубликованную на далекой родине, Иван Озолин, конечно же, не читал. Озолин скончался 28 января 1913 года, оставив шестерых детей: Евгения, Эльвиру, Валерия, Артура, Елену и Льва (умер в 1928 году от менингита). Речь пастора была единственной над гробом покойного. Под упомянутым в его словах «великим учителем» подразумевался Лев Толстой; видимо, лютеранская церковь была в оппозиции к православной. Позже на могиле бывшего начальника астаповской станции, не без помощи Толстых, был установлен памятник из черного мрамора. Софья Андреевна и другие родственники и друзья писателя и в дальнейшем материально поддержали вдову Анну Филипповну с детьми. А в изучении дотоле почти неизвестной биографии Озолина мы в первую очередь должны благодарить саратовского краеведа, кандидата технических наук Г. М. Полякова.

...У статьи Яниса Пенгеротса есть интересное примечание от редакции: «Год назад господин Озолин, посетив Ригу, был в нашей редакции и обещал нам предоставить еще более подробное описание последних дней Толстого в его доме. Но мы не дождались обещанного. Уже в то время в Озолине были видны признаки болезни, нервозность и некоторое утомление. Он говорил по-латышски, хотя было видно, что в нем он уже не очень силен».

Напомним, в статье К. Загоровской «Тайна третьего поезда» («Час»: 13.09.2010) была интереснейшая информация о том, что в Риге обнаружилась картина Левитана «Поезд в пути», которая была написана художником якобы для Озолина. Во всяком случае, по словам брата известного писателя Аншлавса Эглитиса, пианиста и искусствоведа Видвудса Эглитиса, к ним в дом она попала от рижской родственницы именно того – «астаповского» – Озолина и, может быть, именно в том 1911 году левитановский «Поезд» и был привезен в Ригу. Однако, как утверждает вдова Видвудса Ингрида Фрицкауус, письмо, где запечатлены слова Эглитиса, недавно потеряно...



Родиться в провинции. От царей, страстей –  
вдалеке.

Козий сыр и вино. Кипарисы  
и слева и справа

И носить твоё кольцо  
на узкой руке.

И носить под сердцем дитя,  
а ногами – ткать саван

Люблю твои ладони на глади тела,  
или – в его глубине,

Не подругой и не сестрой – петля  
последнего дня дорогой!

Ты мне – не мужем – имя  
выдохни мне

В изгибе, извиве, забыв на каком  
языке и какому Богу

Молились. Я на обрыве, и Ты на краю –  
смотри –

Не зная, но называя, волной о берег

Я искала тебя – в долинах обеих  
Америк...

В долине лилий, наконец-то, идут дожди...

## ВЛАДИМИР ФРЕНКЕЛЬ

### ВРЕМЯ ВЕЧНО ЖИВО

проект «Бывшие рижане»

*Владимир Френкель (1944) – поэт, эссеист. Начал публиковаться в 70-х годах в Риге, в газетах и журнале «Даугава». В 1977 году в Риге выходит первая книга: сборник стихотворений «Земное небо», после чего автор довольно скоро удостоивается внимания со стороны Комитета госбезопасности.*

*Хотя никаким ни антисоветчиком, ни диссидентом никогда не был, о чем и рассказывает в своем эссе «Право на одиночество в пустом кафе», опубликованном в 2004 году в журнале «Даугава». «Неофициальная» культура, – пишет Вл. Френкель о литературном самиздате, в частности о ленинградских самиздатских журналах, где в конце 70-х – начале 80-х публикует статьи на исторические и религиозные темы, – не носила антигосударственного характера. Она хотела быть свободной, а „противопоставление” чему-либо уже означает несвободу».*

*Тем не менее в 1985 году Вл. Френкеля арестовывают по делу о самиздате, до 1986 года он – политзаключенный.*

*...Возвратившись в Ригу из Ленинграда, где писатель живет и работает с 1964 по 1968 год, он видит свой город сильно изменившимся к худшему. «70-е годы, – вспоминает поэт в вышеупомянутом эссе, – как-то сползли в вульгарность, в общее безразличие. Участились тоскливые пьянки по любому поводу. Усилился приток переселенцев из России и Белоруссии: это была целенаправленная государственная политика «разбавления» местного населения, приведшая впоследствии к национально-демографическому перекоосу и к известным проблемам в современной Латвии».*

*Стихи и эссе Вл. Френкеля публикуются в журналах и альманахах Риги, Москвы, Иерусалима, Филадельфии. Издано семь сборников стихотворений, среди которых «Проходя вдоль канала» (Иерусалим: 1990), «Городской пейзаж» (Рига: 2005), «Игра без правил» (Рига – Иерусалим: 2010) и др.*

*С 1987 года Вл. Френкель живет в Иерусалиме, но почти каждый год приезжает в Ригу, где радуется возможности воспользоваться «правом на одиночество в пустом кафе – потому что и это тоже свобода».*

Редакция

## В и т р а ж

## I

Переплетение цветное,  
Оконный стрельчатый пейзаж,  
Святые, ангелы, герои,  
И называется – витраж.

## II

Зеленый, красный, желтый, синий,  
Он лихо буйствует, пока  
В перекрещенье строгих линий  
Не застывает на века.

## III

И это правильно. Свобода  
Тогда лишь рвется из окна,  
Когда безбрежность небосвода  
Со всех сторон ограждена.

## IV

Вот так, течению подобный,  
Что знает меру и предел,  
Построен ямб четырехстопный –  
Он мне еще не надоел.

## V

Витражный свет внутри собора  
Горит до вечера, когда  
Его смешаются узоры  
И подступает темнота.

## VI

Витраж еще напоминает,  
Что сила вышняя с небес



Нетварным светом наполняет  
Наш мир, исполненный чудес.

## VII

Но как забыть о преисподней,  
Когда нежданной полутьмой  
Встречает Храм Страстей Господних  
Перед Масличною горой.

## VIII

А там – Моление о Чаше,  
И смертный пот, и римский страж...  
Но лишь глаза привыкнут наши,  
Мы видим наконец витраж.

## В е н е ц и я ( I )

У причала чуть качается вапоретто,  
Блики солнца в каналах, на дворцах, везде.  
В городе незаметно, что кончается лето,  
Особенно – в городе на воде.

Этот город, почти и не город даже,  
Был когда-то торговым, скардным, золотым,  
А теперь превратился в подобие вернисажа  
И собой лобуетя, то есть отражением своим.

Ах, какая музыка недавно звучала  
У Санта-Мария дела Салюте, по-над водой,  
А потом поплыла от причала и до причала,  
По изгибу канала уводя за собой.

## В е н е ц и я ( II )

Посмотреть наверх, где сияет ярко,  
Как последний довод, неоспорим,  
Византийский купол Святого Марка,  
Примирия в небе Царьград и Рим.

Перейти пьядетту, и дальше – прямо,  
Разобраться в путанице мостов,  
Где со всех сторон окружает драма  
Венецйской жизни былых веков.

У воды, в кафе, за стаканом кьянти  
Просидеть до вечера час-другой  
И представить жизнь в ином варианте –  
С итальяским небом над головой.

—  
Совместные воспоминанья  
Какою блещут красотой!  
Дворцов и парков узнаванье,  
Мостов над темною водой...

Нет, мы не город вспоминаем,  
А время – то, где были мы  
Свободны, пусть оно за краем  
Недобррой нынешней зимы.

И ни о чем жалеть не стоит –  
Забудем перечень потерь!  
Пусть ветер безнадежно воеет –  
Ему мы не откроем дверь.

Мы будем молоды на диво,  
Считай, что врут календари...  
А наше время вечно живо,  
Пока мы живы – повтори.

—  
Как некогда, проснуться в ранний час,  
Когда пока что забраны витрины  
Решетками, товары не про нас,  
На улице и зябко, и пустынно.

Почти Париж – конечно же, бистро,  
В кафе шуршит газетная страница,

Пейзаж, как на картине Писарро...  
Да, тот Париж, что мне уже не снится.

Сквозь старый парк, заваленный листвою,  
Как сказано не помню в чьей поэме,  
Пойти бы на свидание с тобой,  
Прости-прощай, несбывшееся время.

Лишь мостик над каналом перейти  
Осталось, приготовиться заране,  
Сказать – прощай, нет, все-таки – прости,  
И раствориться в утреннем тумане.

Б л а ж е н н ы

Светлый праздник у нас, так что же ты плачешь?  
Жизнь одержала над смертью победу, это ли не радость,  
Весть о которой дошла до самых краев экумены!  
Что же ты плачешь, разве не возгласили  
Сегодня в храме: «Смерть, где твое жало?»,  
И еще: «Ад, где твоя победа?». Сатана огорчился,  
А мы поем и едва ли не пляшем, как пел и плясал когда-то  
Народ Моисея, вышедший из Египта,  
Из дома рабства и смерти... Так скажи, о чем же ты плачешь?  
Неужели о тех, кто уже не вернется,  
Кого никогда в этом мире мы не увидим,  
Или о нашей нескладной жизни, что проходит и исчезает?  
Что ж, если так тебе легче, – плачь! Блаженны –  
Сказано было – плачущие.  
Да. Блаженны.

---

# ГИПЕРТЕКСТ

## БАЛТИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ ПОЭТОВ

### ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ

по вопросам русской литературы

*Организатор: Международный профессиональный союз «Балтийская гильдия поэтов» (зарегистрирована 31 марта 2011 г; учредители: Н. Гуданец, Вл. Дозорцев, Ю. Касянич, С. Пичугин; сайт Гильдии [gildia-poetov.org](http://gildia-poetov.org)). В опросе участвовали 22 поэта из Латвии и Литвы (оценка – средний балл по 10-балльной шкале).*

#### А). Наиболее значимые для Вас русские поэты XX в.?

##### СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК И ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Осип Мандельштам – 9,4; Марина Цветаева – 8,6; Александр Блок – 8,4; Борис Пастернак – 8,4; Анна Ахматова – 7,9; Сергей Есенин – 7,6; Владимир Маяковский – 7,5; Николай Гумилев – 7,4; Николай Заболоцкий – 7,2; Велимир Хлебников – 6,9.

Упомянулись также: Андрей Белый, Иван Бунин, Александр Введенский, Александр Вертинский, Максимилиан Волошин, Вячеслав Иванов, Георгий Иванов, Дмитрий Кедрин, Павел Коган, Александр Кочетков, Михаил Кузьмин, Владимир Луговской, Владимир Набоков, Георгий Оболдуев, София Парнок, Илья Сельвинский, Федор Сологуб, Игорь Северянин, Даниил Хармс, Владислав Ходасевич.

##### «ШЕСТИДЕСЯТНИКИ»

Иосиф Бродский – 7,7; Белла Ахмадулина – 6,3; Андрей Вознесенский – 6,0; Александр Кушнер – 5,5; Евгений Евтушенко – 5,3; Роберт Рождественский – 4,5.

Упомянулись также: Геннадий Айги, Михаил Анчаров, Владимир Вы-

соцкий, Александр Галич, Леонид Губанов, Константин Кедров, Наум Коржавин, Юрий Кузнецов, Зинаида Миркина, Юнна Мориц, Евгений Рейн, Борис Чичибабин, Булат Окуджава, Николай Рубцов, Давид Самойлов, Генрих Сапгир, Борис Слуцкий, Владимир Соколов, Владимир Солоухин, Арсений Тарковский, Вероника Тушнова, Олег Чухонцев.

#### «ВОСЬМИДЕСЯТНИКИ» И СОВРЕМЕННЫЕ ПОЭТЫ

Назывались: Евгений Абдуллаев, Шамшад Абдуллаев, Михаил Айзенберг, Юрий Арабов, Леонид Аронзон, Александр Башлачев, Игорь Белый, Александр Беляев, Ольга Бешенковская, Петр Боровиков, Ян Брунштейн, Елена Ванеян, Дмитрий Воденников, Борис Гребенщиков, Амирам Григоров, Карен Джангиров, Аркадий Драгомощенко, Александр Еременко, Иван Жданов, Сергей Завьялов, Нина Искренко, Александр Кабанов, Светлана Кекова, Бахыт Кенжеев, Леонид Климов, Глаша Кошенбек, Александра Крючкова, Андрей Макаревич, Мария Маркова, Игорь Меламед, Лариса Миллер, Зинаида Миркина, Олеся Николаева, Валерий Нугатов, Алексей Парщиков, Александр Петрушкин, Алексей Прасолов, Яков Рабинер, Михаил Розенштейн, Борис Рыжий, Арье Ротман, Константин Рупасов, Геннадий Русаков, Ян Сатуновский, Ольга Седакова, Александр Скидан, Алексей Сомов, Виктор Соснора, Мария Степанова, Дмитрий Строцев, Владимир Таблер, Мария Теплякова, Ник Туманов, Илья Тюрин, Борис Херсонский, Алексей Цветков, Александр Чиж (Сергей Чиграков), Елена Шварц, Елена Ширман, Виктор Шнейдер, Николай Штромило, Олег Юрьев.

#### СОВРЕМЕННЫЕ ПОЭТЫ ПРИБАЛТИКИ

В анкетах назывались: Владлен Дозорцев, Григорий Гондельман, Михаил Гофайзен, Николай Гуданец, Олег Золотов, Алексей Ивлев, Таисия Ковригина, Милена Макарова, Ирина Мастерман, Александр Меньшиков, Сергей Морейно, Евгений Орлов, Фаина Осина, Сергей Пичугин, Елена Скульская, Руслан Соколов, Сергей Тимофеев, Семен Ханин, Илана Эссе.

#### **В). Что, по-вашему, в творчестве поэта является наиболее ценным?**

Индивидуальность – 9,4; умение быть неожиданным, открывать новые ракурсы поэтического видения – 8,9; богатство образов, широта ассоциаций – 8,5; широта кругозора – 8,3; владение композицией – 8,3, фило-софичность – 8,0; лирическая проникновенность – 7,9; ирония и самоирония – 7,6; связь с Традицией, чувство ее непрерывности и своего места в ней – 7,2; богатство фантазии – 7,2; стремление проявлять истинные духовные ценности – 7,1; музыкальность – 6,6; обогащение и расшире-

ние поэтического словаря – 6,2; умение предчувствовать будущее – 6,1; непохожесть на других любой ценой – 4,9; безукоризненное соблюдение формы, следование установленным правилам – 4,5, стремление отражать реальный, а не фантастический, придуманный мир – 4,5; умение изобретать неологизмы – 4,1; стремление быть понятным как можно более широкому кругу читателей – 3,4; быть злободневным – 3,0; эпатаж, нарушение принятых этических норм для достижения успеха – 1,0. Названы также: способность вдохновлять, смирение, отсутствие самолюбования, ненарочитость, умение отказаться от всего лишнего.

### С). Как Вы пишете стихи?

– *Что Вам необходимо, в первую очередь?*

Вдохновение, нахлынувшие чувства – 7,9; накопленные впечатления и образы – 7,5; рождение удачного словосочетания – 7,1; нужный настрой, «вхождение» в образ – 7,1; покой, уютная обстановка – 4,1; справочные материалы, словари – 2,7; компьютер – 2,7. Названы также: досуг, регулярное чтение, ритм.

– *Есть ли у Вас записная книжка, куда Вы записываете пришедшие строки?*

Да – 13, нет – 9.

– *Часто ли Вас вдохновляют стихи других авторов?*

Редко – 17, часто – 4, никогда – 1.

– *Как в Вашем поэтическом творчестве примерно соотносятся талант и труд?*

Шестеро доли таланта и труда определили поровну, затруднились ответить – 16.

– *Дорабатываете ли Вы свои старые стихи?*

Да – 5, иногда – 14, нет – 3.

– *Оцените высказывание: не буду читать чужие стихи, в т.ч. классиков, чтобы сохранить свою индивидуальность.*

Почти все участники опроса не приняли подобное утверждение, называя его «чушь» и «бредом».

### Д). Что для Вас кажется наиболее важным (из нижеперечисленного)?

Возможность, при поддержке государства, издать свою книгу – 8,0; публикация в Антологии поэзии Латвии (или Прибалтики) – 7,1; получить возможность публиковаться в периодике: российской – 6,9; прибалтийской – 6,3; регулярные фестивали в Прибалтике, с приглашением гостей из других стран – 6,2; получать критические отзывы о своих произведениях – 6,1; публикации в интернете – 5,6; выявлять новые

таланты – 5,5; литературные конкурсы – 5,1; создать сайт, на котором единомышленники могли бы общаться, – 4,4; организовать на сайте мастер-класс – 4,3. Названо также: иметь своего читателя (слушателя), обзавестись собственным литературным журналом, объединяющим интересных мне авторов.

**Е). Нужна ли Вам широкая аудитория?**

Нет – 12, да – 4, не знаю – 2, не ответили – 4.

**Ф). Кому Вы больше доверяете в оценке литературных произведений?**

Собратьям по перу – 8,4; литературоведам – 6,3; рядовым читателям – 4,8.

**Г). Существуют ли какие-нибудь кардинальные отличия прибалтийской и российской поэзии? Если есть – в чем они?**

Ответили «различий нет» – 5, ничего не ответили – 6. Остальные отметили различия: *а)* в проблематике, стиле, форме подачи материала, в образности, философичности; *б)* в ценности произнесенного и напечатанного слова. Прибалтика больше тяготеет к западничеству и допускает в текстах большую свободу формы и содержания, в том числе – фривольности; *в)* на прибалтов влияет европейское рациональное мышление (в России – более иррациональное); *г)* еще в советское время было замечено, что в Риге есть своя школа (Дмитрий Кузьмин); *д)* у россиян более выражена гражданская позиция, более конкретна связь с Родиной, «почвой и судьбой»; *е)* у прибалтов заметно стремление к обобщениям, философичности, отстраненности от социальных и политических проблем; *ж)* прибалтийские поэты проявляет большую склонность к верлибру; *з)* разница – в количестве: в России больше авторов, больше читающей публики, больше и качественной поэзии; *и)* латвийской русской поэзии свойственны большая интравертность, медитативность, более развитая образная система и более уважительное отношение к русскому языку; *к)* у некоторых поэтов Прибалтики заметно тонкое чутье к энергетике стиха, которого лишено большинство нынешних российских поэтов.

**Комментарий организаторов**

По первому вопросу анкеты – нужно уточнить, что разделение по эпохам достаточно условно. К примеру, некоторые поэты 60-х, слава Богу, до сих пор живы и успешно работают. Во-вторых, мы не задавались целью установить абсолютную значимость поэта, а только лишь

степень влияния его стихов на формирование поэтического мировоззрения современных авторов.

Надо сказать, что мы не единственные, кто пытается подытожить опыт поэтического бытования последнего столетия. Например, это же делают Владимир Бондаренко или Евгений Витковский. Интересно сравнить наши результаты.

Опрос не претендует на абсолютную объективность. Его цель – создать некую сетку координат, основу для размышлений, понять направления и векторы развития современной поэзии.

Комментарии и выводы по ответам на 1-й вопрос: в отношении поэзии Серебряного века и советского довоенного периода заметно единодушие (очень малый разброс оценок). Первая девятка определена относительно легко, и возглавляет ее Осип Мандельштам.

Замечу, что в упоминаниях отсутствуют Бальмонт, Брюсов, Анненский, Клюев. Не упоминались также поэты советского довоенного и послевоенного периодов Павел Васильев, Глеб Горбовский, Борис Слуцкий, Константин Симонов, Ярослав Смеляков, Александр Твардовский.

Сложнее подвести итоги «влиятельности» оказалось с «шестидесятниками», по-видимому из-за гораздо более низкой «степени узнаваемости», – за исключением 6-ти выделившихся в опросе ведущих поэтов этого периода, безусловный лидер которого – Иосиф Бродский.

И совсем размытой картина оказалась для 80-х годов и современности. Хотя чаще других назывались Бахыт Кенжеев, Алексей Парщиков, Александр Еременко, Иван Жданов, Александр Кабанов, Илья Тюрин и другие поэты, – для того, чтобы выстроить ряд, слишком мала их «степень узнаваемости», а разброс оценок их творчества весьма велик. В дополнениях единично упомянуто множество других поэтов, о существовании которых большинству читателей ничего не известно.

В отношении «первой десятки» Серебряного века наша картина почти полностью совпадает с результатами Бондаренко и Витковского. Следовательно, наш результат далеко не случаен.

Что касается поэтов советского периода: заметно равнодушие опрашиваемых поэтов к большинству авторов, работавших в духе «официоза», тем более – к «секретарской нетленке».

Период 80-х и современности отмечен значительным разбросом вкусов и оценок. Поскольку, в отличие от ситуации в предшествующую эпоху, когда новые стихи было возможно прочесть в литературных журналах, для которых характерны отбор и редактирование, – сегодня, благодаря интернету, каждый способен найти себе как «братьев по духу», пишущих кто во что горазд, так и подлинные новинки современ-



ной поэзии. При этом качество большинства публикуемых в интернете стихов – известное.

Несмотря на то, что в опросе названы действительно значительные имена и «поэтическое поле» сегодня гораздо шире, чем прежде, наше анкетирование косвенно подтвердило тот факт, что сегодня, в значительной степени, упразднены как настоящая, глубокая критика, так и редаKTура.

Комментарии и выводы по ответам на 2-й вопрос. На первых местах такие качества, как индивидуальность, умение быть неожиданным, открывать новые ракурсы поэтического видения, богатство образов, широта ассоциаций, широта кругозора, философичность, лирическая проникновенность, а также владение иронией и самоиронией. Значительное большинство опрошенных высоко оценивают стремление проявлять истинные духовные ценности.

В чести – профессиональные качества: владение композицией, музыкальность, стремление развивать и расширять поэтический словарь. Более прохладно поэты отнеслись к стремлению любой ценой ни на кого не походить, к безукоризненному соблюдению формы, следованию установленным правилам, к стремлению отражать реальный, а не фантастический, придуманный мир, к умению изобретать неологизмы, к стремлению быть понятным как можно более широкому кругу читателей.

Еще меньше поэты стремятся быть злободневными. И совсем не в чести – неперенное желание эпатировать, ради успеха нарушать принятые этические нормы. Поэты-прибалты – по преимуществу интраверты, мало связанные с общественными проблемами. В силу этого они своим творчеством не пытаются изменить этот мир, а самосовершенствуются, ищут «царство Божие» внутри самих себя. Этим же, наверное, объясняется равнодушие к несколько экзотичному, вычурному Бальмонту и символисту-декаденту Брюсову, а также к яркому экстраверту Игорю Северянину.

Комментарии и выводы по ответам на 3-й вопрос. Поэтам, как и в старые добрые времена, в первую очередь, необходимы, с одной стороны, вдохновение, нахлынувшие чувства, а с другой – накопленные впечатления и образы (у большинства есть также записная книжка, в которой со временем они и накапливаются). Стих часто начинается с рождения удачного словосочетания. Нужны также настрой, «вхождение» в образ. Поэты меньше зависят от покоя и уюта, еще меньше им нужны справочные материалы, словари, компьютер.

А в общем, в поэтической работе мало что изменилось. Вспоминается провокационная статья Маяковского «Как делать стихи». В ней

поэт честно написал о своем труде, как о ремесле, чем вызвал поток критики в свой адрес. А зря. Если отбросить его рассуждения о «социальном заказе» – то в основном все верно. Что же касается технологии, то сегодня возможности несравненно шире, чем тогда, в 20-х годах XX века. Есть компьютер, интернет, электронные справочники и словари, чем уже, кстати, пользуется великое множество стихотворцев. Разумеется, без наличия таланта все это – бесполезный хлам.

Большинству опрошенных большая аудитория слушателей не нужна. Очевидно, они предпочитают компанию единомышленников большому залу, полному не причастных к поэзии слушателей.

*Сергей Пичугин*

## ЧЕСЛАВ МИЛОШ

### ВАЛЬС

#### Милош как состояние

Чеславу Милошу в этом году исполнилось 100 лет. Его присутствие в этом мире до сих пор с такой силой ощутимо, что я обхожусь без частицы «бы». Для меня Милош, почитаемый как философ, гуманист etc., в первую очередь великий поэт. Хотя свою Нобелевскую премию (1980) он получил скорее по причине необыкновенной популярности его эссеистики (видимо, как и Бродский). Тем не менее, он остается практически на вершине того небольшого списка нобелевских лауреатов по литературе, чьи кандидатуры не вызывают ни малейших сомнений.

Милош все время писал. Он был, как говорят поляки, титаном работы. Он сделал ставку на тот посыл, message, что поступал (поступил) к нему со стороны высших сил, и приложил всю свою волю, умение, терпение, чтобы передать его дальше. Иногда он раздражающе многословен, порой зануден и дидактичен, частенько от его верлибров тошнит, но он – услышан.

С возрастом Милош из посредника превращается в локатор: в какой-то рефлексирующий полуавтомат. Он считает нужным отозваться обо всем. Прочитал Сведенборга – пишет о Сведенборге. Прочитал Блейка – пишет о мистике Блейка, причем как о чем-то очень важном и серьезном, при этом сам ни на йоту не будучи мистиком. Это непрерывное письмо не становится графоманским лишь потому, что он действительно постоянно «включен» в поле вещания.

Младенческой непосредственностью восприятия и реакции он напоминает Гете, который, напомню, счел необходимым и даже возможным построить теорию цвета, оспаривая самого Ньютона. И этим (а еще тем, что оба прожили долгую, исключительно плодотворную жизнь) они с Гете отличаются от Пушкина и Мандельштама. Впрочем, полагаю, значение, вернее, значимость и глубина Пушкина и Мандельштама неизмеримо выше значимости Гете и Милоша.

Причем меня трудно заподозрить в русофильском шапкозакидательстве, поскольку Пушкин, в конце концов, был негром, а Мандельштам – польским евреем. В сравнении с Мандельштамом Милош, как сам он написал в «Песнях Адриана Зелинского», – «младенец, не способный отличить краюхи от зернышка тмина». Однако именно с него «рациональный тренд» в мировой поэзии укрепился на несколько десятилетий.

Возобладало негерметичное, в целом неметафоричное (если не считать метафорами неизбежные подростково-эротические аллюзии Бродского) направление рационалистов с теоретически-гуманистичным мышлением. Я говорю «теоретически», поскольку их интересовал не столько человек как таковой (хотя формально, скажем, Милошу НП была присуждена за то, что он «с бесстрашным ясновидением показал незащищенность человека в мире, раздираемом конфликтами»), сколько сохранение некоего предугадываемого равновесия.

Я думаю, таким образом мироздание отреагировало на эпоху жутких тираний XX века. Чтобы охранить свое равновесие перед угрозой тотальной власти не личностей, но воплощений (по-моему, мы все яснее видим, что недавние и нынешние тираны – это не персоны, а состояния, скопления каких-то могучих и, очевидно, темных сил), мироздание решает сохранить за собой, как минимум, трибуну. Не сцену, на которой кривлялись бы романтики, обращаясь к разнузданной элите, а рупор, здравый голос, способный противостоять сталинско-гитлеровскому маршу.

И, возможно, недавнее присуждение НП Томасу Транстремеру, который, в отличие от Милоша, не просто ужасается, ощущая потустороннее присутствие:

*Вот, собственно, что стоит воспеть: день.  
Но по другую сторону ярится первозданная мощь,  
черти, глумясь над верящими в свое первородство,  
расщипывают груди кровавого мяса,  
славят материю без замысла и конца  
и начало агонии,  
в которой вывертом влечения к себе  
предстанет все, что любили [ЧМ], –*

но верит в него, как в один из факторов восстановления и удержания равновесия:

*Мне остался в наследство темный лес, куда хожу редко.  
Но день настанет, когда местами поменяются  
мертвые и живые.  
И тогда лес начнет движение. У нас есть надежда [ТТ], –*

означает, что мироздание привлекает новые эшелоны человеческого разума (в широком смысле), готовясь дать отпор хаосу в грядущих битвах:

*Засунув руки в свои гайднокарманы,  
я подражаю тому, кто спокойно смотрит на мир.  
Я поднимаю свой гайднофлаг, что означает:  
«Мы не сдаемся. Но хотим мира» [ГТ].*

Милош родился в Литве и ощущал себя литовцем, пусть даже пишущим по-польски. Он – одна из тех фигур нашего Земноморья (в Латвии это, безусловно, Визма Белшевица), которые я охарактеризовал бы как «стражей границ»: не государственных, конечно, а границ Равновесия. Между тьмой и светом, малым и большим, своим и «всехним», мертвым и живым.

Стихотворение «Вальс» (1942) написано достаточно типичным для раннего Милоша рифмованным стихом и давно стало в Польше хрестоматийным.

*Переводчик*

В а л ь с

Вновь звук раз-два-три преломлен амальгамой,  
И люстра, кружась, возвращается в зал.  
И глянз: сто свечей, растворенные в рамах,  
Там в сотне зеркал отражается бал.

Где в воздухе пылью цвет яблони тонет  
Средь трубных подсолнухов с искрами свеч.  
Там руки распяты крестом, как в агонии,  
Чернь спин, эмаль спин, бель запястий и плеч.

Парят, чуть прищурясь, взор тает во взоре,  
А шелк, еле скрыв наготу, шелестит...  
И перья, и перлы в гудящем просторе,  
И шепот, и вызов, и отклик, и ритм.

Десятый то год. Уж пробило на башнях,  
Но стыннут песчинки тех лет в полусне.  
Настанет день гнева, исполнятся чаши,  
Смерть в двери ворвется на рыжем коне.

А где-то в глуши пробил час для поэта.  
Но песню о них не для них сложит он,

Где млечным путем ночью избы согреты,  
Местечки заходятся граем ворон.

Хоть он только должен когда-то родиться,  
Ты, неженка, мчишься с ним сквозь времена.  
И будешь еще так в легенде кружиться  
В боль, в дым, в канонаду навек вплетена.

Сейчас, поднимаясь со свалки истории,  
Он на ухо шепчет и молвит: ну вот.  
А тень на лице, то ли грусть, то ли gloria,  
Скажи, это вальс или плач вас ведет?

Встань здесь, распахни занавески, затворы,  
Сквозь блеск просветленья как мир этот нов!  
То вальс золотистой крадется листвою,  
То харкает ветер поземкой в окно.

Заснеженный плац пред желтой зарею  
Внезапно открылся в ночи разоренной,  
Бегущие толпы в смертной истоме,  
Чьих жалоб не слышишь, читаешь с губ.

До самых небес воздвигнуто поле,  
Убийством пышет, румянится кровью,  
К телам, что камнем свернулись в покое,  
Кипящее солнце надышит сутроб.

Есть где-то река, ее льды половинят,  
Рабами истоптаны все берега,  
Под водами черными, над тучей синей,  
На солнце червонном блеск батога.

Там, в той цепи, средь скорбно молчащих,  
О да! Твой сын. Разбитые губы  
В крови, он идет и скалится тупо,  
Рыдай! Покорен и счастлив.

Пойми. Есть граница своя у терпенья,  
За ней на лицо возвращается радость,

А ты исчезаешь, и помнить не надо,  
За что ты боролся и с кем.

И в скотском покое есть проблески рая,  
Когда видишь звезды на облачном ложе,  
Пуškai все мертвы, умереть ты не можешь,  
Но медленно так умираешь.

Забудь. Ничего больше нет, кроме зала,  
И вальса, и ярких гирлянд, и утех,  
Там сотня подсвечников бал озаряла,  
И щеки, и взоры, и гомон, и смех.

Ведь правда, тебя здесь никто не достанет,  
На кончиках пальцев пред зеркалом встань.  
Заря на дворе, уж Аврора, светает,  
Бубенчики санок беспечны, как встарь!

*Перевел с польского Сергей Морейно*

## НАШИ АВТОРЫ

Апрельские семинаристы:

**Никита Карпов** (1991), **Богдана Лобан** (1989), **Артем Шеля** (1989) – студенты русской филологии Латвийского ун-та. Участвовали в создании университетского альманаха «317» (Б. Лобан – редактор, А. Шеля возглавил художественную рубрику), который был выпущен в сентябре 2011 г. В альманахах вошли художественные, публицистические и научные тексты студентов трех курсов бакалаврского уровня. В настоящее время Б. Лобан и А. Шеля учатся в Тартуском университете. **Светлана Тимофеева** (1991) – студентка 2-го курса филологии Латвийского ун-та. Принимает участие в спектаклях независимого театра «КОТ».

**Майра Асаре** (1960) – поэт, прозаик, переводчик. Автор поэтических сборников «Кто с кукушкой играет» (1995), «Дорога в Туу» (2009), книги «Женская зона» (2009). Совместно с С. Морейно издан билингвальный поэтический сборник «Холодное пламя Ганзы» (2010). Публикуется в латвийской периодике с 1988 г. (в журналах «Avots», «Karogs», газете «Kultūras Forums» и др.). Живет в Вентспилсе.

**Ингмара Балодэ** (1981) – поэт, переводчик с польского и английского, редактор портала 1/4 Satori. Автор нескольких поэтических сборников («Леденцы, о которые можно порезать язык» (2007) и др.). Пишет диссертацию в Латвийской академии культуры о значении поэтического перевода в латышской литературе в 1960–80 гг.

**Павел Васкан** (1975) – поэт, инженер по компьютерной технике; с 1998 г. работает программистом. Публикации в газетах «Динабург», «Лабрит», в журналах «Даугава», «Невгин», в «Провинциальном альманахе», ежегодном сборнике даугавпилсских поэтов «Dzejas dienas», а так же – в Интернете.

**Гарри Гайлит** (1944) – театральный и книжный критик. В 1988 г. вышел сборник критических статей «Полет пчелы, сон и пробуждение». С 1958 г. публикует статьи в газетах и журналах Латвии, а также в журнале «Дружба народов».

**Алексей Герасимов** (1969) – поэт, прозаик, переводчик. В Латвии с 1977 г. Закончил Московский Литературный институт им. Горького. Публиковался в «Рижском альманахе», в журналах «Даугава», «Дружба народов».

**Инга Даугавиете** (1967) закончила отделение иностранных языков филологического факультета Латвийского ун-та. Стихи публиковались в «Железнодорожной газете» и «Диене». С середины 90-х живет в Австралии. Публикация в сборнике русских стихотворений «Австралийская мозаика» (Сидней).

**Роальд Добровенский** (1936) – прозаик, переводчик. В Латвии с 1975 г. Наиболее известны написанные в Риге романы-биографии о Бородине и Мусоргском, «Райнис и его братья» (1999). Переводил Райниса, А. Чака, М. Чаклайса, И. Аузиня, И. Зиедониса, К. Элсберга и др.



**Владимир Ермолаев** (1950) – поэт. Родился в Иваново, окончил Ивановское музыкальное училище и философский факультет МГУ, а также докторантуру Латвийского ун-та по кафедре истории философии. Публиковался в журналах «Арион», «Даугава», «Дети Ра», «Воздух» и др. Автор двух поэтических сборников: «Танцующие ульи» (2010) и «Трибьюты и оммажи» (2011).

**Янис Залитис** (1951) – доктор филологии. Как автор предисловий, послесловий, комментариев принимал участие в издании более 50 книг, автор около 250 статей в сборниках и периодической печати по истории литературы Латвии, о латышско-русских и латышско-немецких связях. В настоящее время – старший эксперт музея Райниса и Аспазии, руководитель и один из авторов проекта «Переписка Райниса и Аспазии. 1894–1929».

**Ирина Карклия-Гофт** (1944) закончила историко-филологический факультет Латвийского ун-та. До 1998 г. работала в ЦБС (Централизованной библиотечной системе) Риги. Печаталась в журнале «Даугава», сборниках «Рижский Альманах», «Балтийский архив», в газетах «СМ-Сегодня», «Бизнес&Балтия» и в других местных журналах и газетах.

**Юрий Касянич** (1955) – поэт, переводчик. Закончил Латвийский ун-т, по специальности – физик. Автор сборника стихов «Над ивами бессмертных рек» (1987), сборника переводов латышского поэта Эгилса Плаудиса «Яд сирени» (1987).

**Милена Макарова** (1972) – поэт, переводчик. Училась на историко-философском факультете Латвийского ун-та. Автор сборника стихов «Амальгама» (1997). Переводила стихи А. Айзпуриете, Л. Ланги, Я. Элсберга, М. Салейса и др. авторов. Издала четыре книги переводов латышской поэзии и прозы, печаталась во многих периодических литературных изданиях.

**Рута Марьяш** (1927) – юрист, политик, литератор. Неоднократно выступала в периодической печати. Автор мемуарно-документальных книг: «Быль, явь и мечта» (1995), «Калейдоскоп моей памяти» (2003), а также сборников стихов: «Дар судьбы» (2007), «Души прикосновење» (2009) и др.

**Сергей Морейно** (1964) – прозаик, поэт, переводчик. Родился в Москве, живет в Саулкрасты. Автор книг прозы, переводов, поэтических сборников. Имеет публикации в периодике Латвии, Литвы, Белоруссии, России, Израиля – на русском, латышском и др. языках.

**Виктория Матисоне** (1972) – дизайнер, художник-живописец. Активно сотрудничала с выходившем в 1991–95 гг. журналом «Гном» как оформитель и автор стихотворений.

**Ольга Николаева** (1945) – поэт, критик, переводчик. Родилась в Ленинграде. Жила в Таллинне и Риге, работала литконсультантом в газетах «Советская молодежь» и «СМ-Сегодня». В середине 90-х уехала в Россию, живет в Серпухове, исполняет во Введенском Владычном монастыре послушание трудницы. Автор книг стихов: «Немеркнувший сад» (1976), «Живые искры» (1980), «Высокая горница» (1990). Печаталась в журналах «Новый мир», «Даугава» и др., ее стихи включены в антологию «Русская поэзия: XX век».

**Владимир Новиков** (1947) – поэт, прозаик, переводчик, художник книги. Автор многих сборников поэзии и прозы. Был главным редактором выходивших в

Риге журналов «Гном» (1991–95) и «Sveiki» (1993–99). Редактор латвийского журнала «Вестник моряка».

**Инара Озерская** (1969) – поэт, прозаик, переводчик. Закончила филфак Латвийского ун-та. Журналист. Публиковалась в журналах «Даугава» и «Шпиль», в «Рижском альманахе», в сборнике «Черновик» (Москва). Автор сборника стихотворений «Там». Роман «Ересиарх» опубликован в журнале «Крещатик» (Германия). Публикация повести в сборнике «Лучшие фантастические рассказы 2008 года» (Азбука, Россия).

**Владимир Ореховский** (1959) – ученый, писатель. Окончил физико-математический факультет Латвийского ун-та. Доктор инженерных наук. Публикации в газетах «Бизнес&Балтия», «Республика», «Вести», «Час», «Суббота»; журналах «Datorpasaule», «Бизнес.lv», «Даугава», «Eva», «Карьера», «Коммерсант Baltik», «Патрон», в «Рижском альманахе».

**Сергей Пичугин** (1957) – поэт, прозаик. Родился на Кубани, с 1974 г. живет в Риге. Автор нескольких книг поэзии и прозы. Стихи переводились на латышский и английский языки. Занимается также изданием древнерусской певческой литературы и записями древнерусского знаменного распева.

**Борис Равдин** (1942) – историк культуры, историограф и источниковед. Окончил историко-филологический ф-т Латвийского ун-та, работал в школе учителем литературы, в 1991–2006 гг. – редактор отдела, соредатор журнала «Даугава». Выступал со статьями и публикациями в разных изданиях. Автор, составитель и соредатор десятков историко-культурных сборников и монографий на разных языках.

**Карлис Скалбе** (1879–1945) – поэт, писатель. Классик латышской литературы.

**Максим Супрунюк** (1958) – поэт, сказочник, переводчик. Родился в Москве, закончил Ленинградскую авиационную академию. Работал авиадиспетчером – от Киева до Чукотки. Публиковался в журналах «Трамвай», «Гном», «Свейки!»; автор двух сборников переводов детской латышской поэзии: О. Вацietис «Глупая улитка» (1992) и детские стихи латышских поэтов «Лимпата-Лямпата» (1994). «Взрослые» стихи публиковались в журналах «Даугава», «Арион». В настоящее время живет на Украине.

**Игорь Трохачевский** (1969) – прозаик, поэт. Окончил Литературный институт имени Горького (2000). Публиковался в журналах «Родник», «Даугава», в «Рижском альманахе» и др. изданиях.

**Ирина Цыгальская** (1939) – прозаик, переводчик. Автор нескольких книг прозы, переводов прозы с латышского. Публикации в журналах «Даугава», «Дружба народов», в «Рижском альманахе».

**Леонид Черевичник** (1937–2001) – поэт, переводчик. Автор нескольких сборников стихотворений, а также переводов латышской классической и современной поэзии. Долгие годы был редактором отдела поэзии журнала «Даугава» (1979–96).



СКАЗКИ

Карманная сказка

Жил-был карман. И всё у него было. Даже проездной билет на все виды транспорта. Даже носовой платок (в клеточку) и монетки всякие – на карманные расходы. Не было у Кармана только одного – своего собственного кармана. И очень он, Карман, по этому поводу огорчался. «Батюшки! – причитал Карман. – Как же это я? Все карманы как карманы, а у меня кармана нет...»

Долго он огорчался, а потом на хитрость пошел. То есть, никуда Карман, конечно, не ходил. Просто взял гвоздик и проковырял в себе вот такую: **О** – дырочку. И вот так: **!!!!!!!!!** – обрадовался.

«Вот и наконец-то! – улыбнулся Карман. – Теперь и у меня есть. Вот!» Первым делом Карман аккуратно протолкнул в дырочку монетку. «Поместилась!» – счастливо вздохнул Карман. И когда в Карман опустилась Рука, и ничего, конечно, не обнаружила, ехидно захихикал: «А вот и нету! Вот и нету! Привыкли, чуть что – в Карман лезть...»

С этого дня жизнь Кармана наполнилась новым содержанием. Он проталкивал и проталкивал в дырочку монетку за монеткой. А однажды ему удалось затащить туда огромную конфету «Мишка на Севере». Карман раздулся от важности, перестал здороваться с Рукой и уже всерьёз подумывал о том, не переселиться ли ему с надоевшего потрепанного пиджака на какой-нибудь импортный. Фрак с видом на море и вечнозелёные пальмы.

Дырочка к тому времени превратилась в дырку. Карман, пыхтя, засовывал в нее носовой платок (в клеточку), когда вдруг услышал: «А нету там никакого кармана! Дырка одна, а не карман!» «То есть как это нету? – забеспокоился Карман. – А я, то есть, кто?» Он гордо постучал себя в грудь, отчего монетки где-то внизу печально звякнули. «Я-то кто?!» Но никто ему не ответил.

А недавно я к нему заглянул. Сидит, грустную песню поет: «Кармашки спрятались, поникли лютики...» И дырку в себе зашивает. Суrowой ниткой.

Ужасно вежливое яблоко

Жило-было яблоко. Оно висело на ветке и было ужасно вежливым. Кто знаком хоть с одной яблоней, лучше меня знает, что яблоки

бывают очень разные: вежливые, не особо вежливые и особо невежливые. Но это яблоко было именно ужасно вежливым яблоком. Не больше и не меньше.

Каждое утро, проснувшись и сладко хрустнув хвостиком, оно говорило себе: «Доброе утро». Но тут же ему становилось ясно, что просто какое-то «доброе утро» – это ужасно невежливо. Тогда яблоко просыпалось еще раз и говорило: «Доброе утро! Спасибо! Пожалуйста!» Так гораздо вежливее, конечно, но всё же не вполне. Тогда яблоко еще раз просыпалось, раскланивалось на все шесть сторон и говорило: «Доброе утро! Спасибо! Пожалуйста! Ну что вы! Не стоит! Будьте любезны! Передайте на компостер!» Компостер был здесь, конечно, ровным счетом не при чем. Яблоки на автобусах ездят бесплатно. Но лично яблоку очень нравилось говорить «компостер». Слово было красивое, даже иностранное, а у всех свои иностранности. И что уж тут поделаешь.

Еще ужасно вежливое яблоко обожало, когда кто-нибудь чихал. Тут уж оно и вовсе «развежливалося»! «Ах, будьте здоровы! Спасибо! Огромное! Нет, только за Вами! Простите! Ну что Вы! Я Вас не смущаю? Ах, как интересно! Как это печально... Вы очень любезны! Большое спасибо!» – говорило оно. Ну и, конечно же: «Передайте на компостер!»

И всем всегда всё это нравилось. Особенно червячкам-вредителям. Они быстро раскусили, как говорится, яблоко и безо всякого созревания совести пользовались яблочной вежливостью. Стоило только первому не попавшемуся пока какой-нибудь полезной птице червячку-вредителю подползти к яблоку и чихнуть... И дело было в шляпе. То есть – червячок был в яблоке. Оставалось только вежливо сказать: «Вынужден Вас побеспокоить – разрешите в Вас заглянуть, то есть влезть?» Нужно ли говорить, что такая взаимная вежливость доводила яблоко до слёз! «Конечно, конечно, – кивало оно, – о чем разговор! Влезайте себе на здоровье, если Вас это не особенно затруднит. Счастливого пути!»

Червячки, нужно сказать, не особенно затруднялись. И даже особенно не затруднялись. Они устроили в яблоке настоящую червячную гостиницу, провели в яблоко телефон для червячного администратора, назвали гостиницу «В яблочко» и повесили табличку: «Червячки! Уважайте труд уборщиц! Ешьте взаимно вежливо!»

Встретите это яблоко, кто-нибудь вдруг скажет: «Ужасно червивое яблоко!» – не верьте. Это вовсе не ужасно червивое яблоко, а просто ужасно вежливое яблоко. Выглядит оно, правда, ужасно. Но червячкам – ужасно нравится!

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Для чего?

– Для чего коту сережки?  
– Подарить на праздник кошке.

– А зачем рога улитке?  
– Чтоб пугать тебя с калитки.

– А зачем в окне луна?  
– Чтобы ночь была видна.

– А куда летит синица,  
Что ей в эту ночь не спится?

– Потому что на окошке  
Я вчера насыпал крошки.

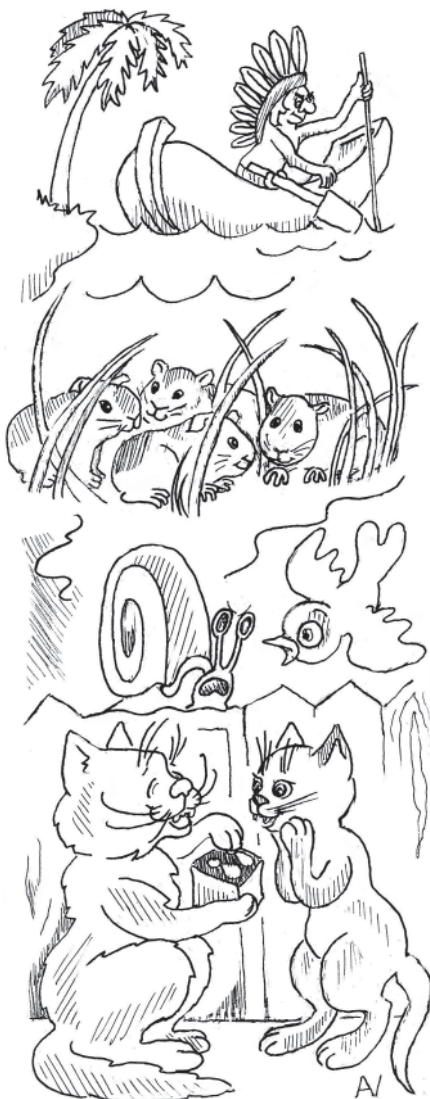
– Для чего зимой снежинки?  
– Чтобы падать на машинки.

И н д е е ц   Д ж о

Индеец Джо в пироге плыл  
Ловить морских свинок.  
Он для приманки захватил  
Мешочек желудей.

Весь день он плавал и нырял,  
И палкой шарил дно.  
Чего он только не поймал! –  
Но свинки – ни одной...

И он вздохнул, идя домой:  
«Я больше не могу!»  
А свинки шумною гурьбой  
Паслись на берегу.



## С к а з к а

Принцесса читала,  
Король почивал,  
А стражник  
Французскую булку жевал.

Тем временем воры  
Зашли во дворец  
И вынесли золота  
Полный ларец.

Тихонько под дубом  
Его закопали,  
Отметить удачу  
В трактир побежали.

Да их во хмелю  
Болтовня обуяла.  
И всё рассказали,  
С конца до начала.

Трактирщик пошел  
Доложить королю,  
Чтоб всем показать  
Непорочность свою.

А может быть,  
Чтобы налог не платить,  
Аль чин посолдней  
Какой получить?

Король был доволен.  
Закон был суров.  
И смерть ожидала  
Обоих воров!

Хмельных в кабачке  
Изловили в два счета,  
И тотчас казнили –  
Простая работа.



Да вот что обидно:  
Забыли про клад.  
И деньги донныне  
Под дубом лежат.

## ПОРУЧЕНИЕ

Алле очень нравится гостить в деревне у бабушки Гали. Это тебе не тесный город. В деревне любая работа не в тягость. Интересно и кроликов кормить, и теленка расчёсывать, и куриные яйца собирать.

А сегодня бабушка дала Алле очень серьезное поручение.

– Иди, позови Вику и вместе с ней приведите с пастбища Ноченьку.

Вика это двоюродная сестра Аллы. Живет она здесь же в деревне, неподалеку. А Ноченька – бабушкина корова, которая весь день пасется в стаде. Ровно в шесть вечера пастух уходит домой, а коров должны забрать хозяева. Обычно Ноченьку приводит бабушка Галя. Но сегодня ее задержали домашние дела.

Вика младше Аллы. Только в этом году пойдет в первый класс. Но девочка серьезная и рассудительная.

– Не волнуйся! – рассеяла она все сомнения Аллы. – Ноченьку мы сразу узнаем. Ты что, не помнишь, какого она цвета, что ли?

– Помню, черная.

– Надо только хворостину на пути сломать.

– Зачем?! Неужели ты будешь бить Ноченьку?!

– Никто никого бить не собирается. Коровы ведь не ослы. Бабушкина Ноченька понятливая. Хворостиной на неё надо только замахнуться.

По пути на пастбище сестренки подпрыгивали и напевали песенки из кинофильма про Красную Шапочку. Подходящих для хворостины кустов встречалось сколько угодно. Поэтому, когда сестрички приблизились к пасущимся коровам, каждая девочка несла три прекрасные хворостины. Все коровы были умные – тут же стали разбегаться какая куда.

– Ну и ну! – сказала Алла. – Здесь пять черных коров!

– Не волнуйся! – улыбнулась Вика. – Ноченьку я узнаю сразу! У нее на лбу белое пятно. Вон она!

– А у той, справа, тоже белое пятно на лбу, – сказала Алла, – и у той, слева. У трех коров белые пятна!

– Надо вспомнить какие рога у Ноченьки! – воскликнула Алла.

Вика радостно подпрыгнула:

– Я помню! Рога у нее: один – маленький, другой – побольше!

Пригляделись девочки: оказывается, рога у всех коров были немного разными.



– Ноченька! – громко позвала Вика.

Ни одна корова на это даже ухом не повела. Тогда Вика прокричала:

– Это я, Вика! – и зачем-то добавила: – А это Алла.

– Мы внучки твоей хозяйки! – поддержала ее двоюродная сестренка.

– Корова всё понимает. Просто этой хитрой Ноченьке нравится здесь, – заключила Вика.

– Конечно, разгуливать по пастбищу приятнее, чем стоять в хлеву, – сказала Алла.

– Давай всех трёх Ноченок отведем к бабушке, – предложила Вика, – она-то свою корову узнает!

– А остальные две?

– Потом пригоним их обратно.

На том и порешили. Вика умело помахивала хворостиной то у одной, то у другой коровы. Алла ей помогала. И вскоре две девочки и три коровы направились к деревне. По пути не случилось никаких особых приключений. Если не считать, что Ноченьки забрели ненароком в какой-то огород. Вокруг него не было забора, но охраняла двор собака, которая не церемонясь выгнала незваных коров.

Затем они проходили мимо лужка, на нем на длинной верёвке пасся телёнок. Этот телёнок, как только увидел коров, начал приветливо мычать. А те – тут же повернулись к нему, ответили мычанием на мычание, а затем дружно устремились к малышу.

– Стоп! – закричали девочки.

Ох и пришлось им помахать хворостинами, пока коровы вновь пошли по дороге к деревне. У первого же дома одна их коров направилась прямо в открытые ворота. Ей навстречу из глубины двора вышла улыбающаяся женщина и сказала:

– Спасибо, милые, что пригнали мою Смугляночку. Я уже собралась за ней.

Девочки и две коровы продолжили свой путь. И за поворотом дороги встретили знакомого дедушку Семена Антоновича. Он радостно приветствовал сестренку:

– Здравствуйте, девочки-припевочки! Как же вы догадались и мою Смородинку с собой прихватить? Спасибо, малышки – не глупышки!

Дедушка живет на другом конце деревни, за домом бабушки Гали. Так что путь они продолжили все вместе. А когда поравнялись с небольшой горочкой, а именно на ней стоит дом бабушки, третья корова, а кто это ещё мог быть, если не Ноченька, без напоминаний повернулась налево и зашагала вверх по тропинке, прямо к своему хлеву.

# КАРЛИС СКАЛБЕ

## ПТИЧКИН ПИР

На серых полянках

В мелком ольшанике  
Вязком и топком,  
В сумрачных чащах,  
По узеньким тропкам

Хожу и ищу  
По забытому следу  
Детства далекого  
Счастье и беды.

Вот оно, детство –  
По травам и кочкам  
Бежит с кузовочком  
По серой полянке.

Под веткой мохнатой,  
Мохом укрыт,  
Земли ребенок,  
Рыжик спит.

Землей пропахшего,  
Его возьмет,  
Ручонкой к личику  
Поднесет.

Под ёлочкой  
Разведет огонек,  
Над красными углями  
Держит грибок.

Как иволга,  
Синюю выпьет росу  
И смех золотой  
Рассыпает в лесу.



Сплетает веночек  
Из сушелицы  
И смотрит, как в небе  
Прносятся птицы.

Над гнёздышком  
Разоренным всплакнет.  
Но тут уж и сумрак  
Вечерний придёт.

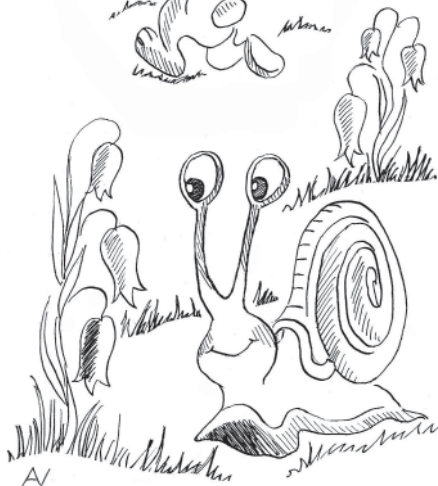
Л е с н ы е  
к о л о к о л ь ч и к и

Колокольчики лесные,  
Что безмолвно в чащах грезят, –  
Почему бледны их лики?  
Потому что очень редко  
Открывается им небо,  
И тогда они печальный,  
Бледный свет его вбирают.

Колокольчики лесные,  
Что безмолвно в чащах грезят...  
Но кому нужны такие?  
На дрова сгодятся сосны,  
А от них – какая прибыль?  
Заяц их не ест, у зайца  
Есть на то своя капуста,  
И медведь их равнодушно  
Топчет, и ползет улитка  
Мимо них к грибам мясистым.

Колокольчики лесные,  
Что безмолвно в чащах грезят,  
Ловят отблеск звезд далеких  
И лучи их превращают  
В язычки; тогда повсюду  
Тихий-тихий звон их слышен.

Этот звон – кому он нужен?  
Нужен он лесной опушке,



Пастуху, что в полдень грезит,  
Голову ко мху склоняя.

П и р

Был праздник в городе,  
Пир званный во дворце,  
А птичка зернышко  
Нашла на улице.

Я шел на званный пир, –  
Остался с птичкой  
И тихой радостью  
С ней вместе радовался.

*Перевел с латышского  
Леонид Черевичник*

